346491
ДР с159
346491
V5

Проф. П. Н. САКУЛИН

ПУШКИН

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭСКИЗЫ

„АЛЬЦИОНА“

ФОНД

23/VI-55 654

Получил

346491

Пр. 2010

ПРОВЕРЕНО
19 г.

Проф. П. Н. САКУЛИН

ПУШКИН

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭСКИЗЫ

„АЛЬЦИОНА“
Москва
1920

8(с)р(092)
С159

Проф. П. Н. САКУЛИН

ПУШКИН и РАДИЩЕВ

НОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОГО ВОПРОСА

ОБЛАСТНЫЕ КОММУНИСТОВ ЖУРНАЛИСТОВ БИБЛИОТЕКА БЮРО
БИБЛИОТЕКА СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА им. А. М. ГОРЬКОГО

„АЛЬЦИОНА"
Москва
1920

8(С)Р-35(092)

346491

Р. В. Ц. (Москва.) Отпечатано 15.000 экз.

1-я Государст. типогр. (быв. Сытина) Москва, Пятницкая, 71.

ПУШКИН И РАДИЩЕВ.

I.

Исследователи не раз с недоумением останавливались перед статьями Пушкина о Радищеве.

Пока шла речь о двадцатых годах, отношения Пушкина к Радищеву не вызывали ни чьих сомнений. Пушкин знал Радищева, ценил его и подражал ему. Осязательными доказательствами служат такие произведения, как «Бова», «Вольность» и «Деревня» [1]. Даже в тридцатых годах Пушкин продолжал считать Радищева недурным поэтом, а в молодости ему так естественно было откликнуться и на игривую «богатырскую повесть» XVIII в. и на гимны свободе. Отсюда известный упрек Бестужеву (в 1823 г.): «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева?» Всё это прекрасно гармонирует с нашим общим представлением о поэте в александровскую эпоху. Совсем в ином положении оказываемся мы, как только переходим к пушкинским статьям о Радищеве. Тут всё спорно и загадочно. Как будто самый облик поэта начинает дрожать перед нашими глазами, когда мы пытаемся примирить себя с мыслью, что именно Пушкин был автором этих резких статей.

Первая статья Пушкина дошла до нас в неоконченном виде. П. В. Анненков озаглавил ее «Мысли на дороге». Писалась она

---

[1]) Уже В. Д. Спасович ставит «Деревню» в связь с «Путешествием» Радищева. (Сочинения, т. II, стр. 218).

в 1833—1834 годах. Вторая, под заглавием «Александр Радищев», относится к 1836 году. Она предназначалась для «Современника», но предписанием главного управления цензуры не была дозволена к напечатанию. Первая статья хотя и в искаженном виде была включена уже в посмертное издание Пушкина и в анненковское 1855 г. Вторая же впервые увидела свет лишь в 1857 г. (в VII, дополнительном томе издания Анненкова). Подлинный текст обеих статей читатель получил только в юбилейном издании Пушкина, вышедшем в 1880 г., под редакцией П. А. Ефремова.

Нечего и говорить, что статьи Пушкина о Радищеве сразу же привлекли к себе напряженный интерес и послужили предметом разнообразных суждений. Впрочем, специальная работа существует только одна: это—очерк В. Е. Якушкина «Радищев и Пушкин», напечатанный в «Чтениях Общества Истории и Древностей Российских» за 1886 г., кн. 1, и вошедший затем, почти без всяких изменений, в его сборник «О Пушкине» (М. 1899). Якушкин оказал значительное влияние на взгляды последующих ученых, говоривших о том же предмете.

Вопрос имеет уже довольно длинную и поучительную историю, но до сих пор не может считаться окончательно решенным. Мне хотелось бы заново пересмотреть его и дать ему свое освещение, опирающееся на психологию и миросозерцание Пушкина.

Сделаю сначала обзор литературы и выясню, как обстояло дело до настоящего времени.

II.

Первыми, обязательными читателями Пушкина были, конечно, цензора. В 1836 г. статья «Александр Радищев» побывала в руках многих цензоров, начиная с Александра Лукича Крылова и кончая самим С. С. Уваровым. Последний признавал статью «недурной» и полагал, что, «с некоторыми изменениями», ее можно было бы даже пропустить, но решил задержать потому, что находил «неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге совершенно забытых и достойных забвения».

Запрещение это было повторено Уваровым в 1840 г., когда печаталось посмертное издание Пушкина [1]).

В 1857 г., когда Анненков представил в цензуру VII, дополнительным том Пушкина, пришлось высказаться И. А. Гончарову, исполнявшему тогда должность цензора. Гончаров (в донесении от 6 апреля 1857 г.) посмотрел на статью «Александр Радищев», как на «любопытный исторический эскиз», как на «полный очерк известного вольнодумца времен Екатерины II», не имеющий «никакого отношения к нашей современности» и могущий «разве только послужить материалом будущему историку нравов той эпохи» [2]).

Из исследователей первым выступил, конечно, П. В. Анненков. В издании Пушкина 1857 г. он писал [3]): «Статья Александр Радищев принадлежит, по нашему мнению, к тому зрелому, здоровому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях и предметах незадолго до его кончины. Пушкин в своей статье показывает, что никакие благие намерения не могут оправдать нарушение узаконенных постановлений и никакие злоупотребления, столь неизбежные в каждом человеческом обществе, не могут извинить слов гнева и враждебных страстей. Для борьбы с недостатками и пороками, Пушкин прежде всего требует от всякого деятеля любви и пребывания в границах закона, — и это составляет высокую и нравственную мысль его дельной и строгой статьи».

---

[1]) *М. И. Сухомлинов.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. I. Спб. 1889. Статья «А. Н. Радищев», стр. 651—652.

[2]) Голос Земли 29 янв./11 февраля 1912 г., № 20. В нумере—особый отдел под заглавием «75 лет со дня смерти А. С. Пушкина». Среди других—статья без подписи (но, очевидно, П. Е. Щеголева, как предположил и André Mazon в книге «Un maître du romen russe. Ivan Gontcharov», стр. 412, прим. 3) под названием «И. А. Гончаров—цензор Пушкина»; в ней воспроизведено всё «донесение» Гончарова по списку, который хранится теперь в Пушкинском музее Александровского Лицея.—М. И. Сухомлинов также цитирует это донесение по рукописи Архива министерства народного просвещения (Исследования и статьи, т. I, стр. 652—653).

[3]) Т. VII, ч. II, стр. 3—4. Ср. у Сухомлинова, I, 668.

Как видим, ни Уварову, ни Гончарову, ни Анненкову не приходила в голову мысль о том, что здесь нужно что-то вычитывать между строк. Более того, в 1880 г., характеризуя «общественные идеалы» Пушкина, Анненков определенно говорит о «консервативной теории» поэта, как она отразилась в разных его произведениях тридцатых годов, в том числе в статьях о Радищеве [1]).

К пятидесятым годам относятся еще четыре отзыва: А. В. Станкевича, Н. А. Добролюбова, Павла Ал. Радищева и А. И. Герцена. Общей для них чертой является то, что они также считают статьи Пушкина о Радищеве выражением его действительных взглядов, но, в противоположность Анненкову, полемизируют с Пушкиным.

А. В. Станкевич, родной брат знаменитого Н. В. Станкевича, напечатал в журнале Е. Корша «Атеней» за 1858 г. статью по поводу выхода в свет VII, дополнительного тома анненковского издания и в ней посвятил следующие строки статье о Радищеве [2]): «Из биографической статьи «О Радищеве», являющейся впервые на свет, мы можем ознакомиться с мнениями Пушкина о человеке, в котором, с точки зрения исторических и общественных условий, он усматривал только пример для поучения. Поучительная сторона явления закрыла от него другую сторону, трагическую. Нельзя сказать, чтоб это послужило в пользу живости и ясности биографического очерка».

С возражениями против Пушкина и Анненкова, в защиту Радищева выступил в 1858 г. критик Н. А. Добролюбов, разбирая тот же VII т. анненковского издания. Взгляд Пушкина на Радищева Добролюбов называет «весьма поверхностным и пристрастным». Поэт, по его словам, «нередко впадает даже в противоречия с самим собою». Выяснив эти противоречия, на почве «двойственности» самого Пушкина, Добролюбов делает такой общий вывод [3]): «В частных суждениях, в фактах, представленных в

---

[1]) *П. В. Анненков.* Воспоминания и критические очерки. Отдел третий. Стр. 253—4.

[2]) Атеней, 1858, часть первая, стр. 79.

[3]) Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова. Под ред. М. К. Лемке. Т. I. Стр. 574—575.

отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы».

Горячо запротестовал против мнения Пушкина о Радищеве сын последнего Павел Александрович [1]). Его крайне огорчает замалчивание поэтом того факта, что «все знавшие Радищева уважали его, как человека умного, ученого, честного, бескорыстного». Самое «Путешествие», за исключением одной оды, имеет «чисто-практическое содержание»; направление книги и характер автора вообще таковы, что не подают повода к выводам, какие делает Пушкин; в книге собраны «факты из действительности, сведение о которых, приведенное в сознание, могло бы быть полезно, как материал для административных и политических действий». Внося ряд фактических поправок в статью Пушкина, Павел Ал. Радищев бросает поэту упрек, что он, «как видно, мало заботился о достоверности своего рассказа, а хотел округлить статью половче, хотя бы насчет истины». Справедливы лишь замечания Пушкина о слоге Радищева, да и то нельзя забывать, что «таким языком тогда писали все». «Во всем же остальном», говорит Павел Александрович в заключение, «видно незнание фактов или извращение их, и особенно поражает ложный свет и странный, трудно объяснимый взгляд, брошенный на личность Радищева нашим великим поэтом».

Таким образом, ни Анненков, ни Станкевич, ни Добролюбов, ни Павел Радищев не снимали с поэта ответственности за его суждения об авторе «Путешествия».

Новую ноту внес А. И. Герцен.

В 1858 г. Искандер выпустил в Лондоне второе издание «Путешествия», в общем мало удовлетворительное [2]), и снабдил его

---

[1]) Русский Вестник 1858, т. XVIII, декабрь, книжка первая, статья «Александр Николаевич Радищев»; приложение к ней—стр. 428—432. Статья—того же 1858 года, доставлена в журнал А. Корсуновым и сопровождается биографическим очерком Павла Ал. Радищева.

[2]) См. у Сухомлинова «Исследования и статьи», I, 655—660.

биографическим предисловием, воспользовавшись фактами, какие сообщает Пушкин в своем очерке «Александр Радищев». По мнению Герцена, статья эта не делает «особенной чести поэту»: «Он или перехитрил ее из цензурных видов, или в самом деле так думал—и тогда лучше было бы ее не печатать» [1]). Герцен, так. обр., сделал два возможных предположения. Своеобразным является первое—«перехитрил». Этому мнению, однако, еще долго суждено было оставаться одиноким.

Выход ефремовского издания Пушкина (1880 г.) и открытие московского памятника заново освежили интерес к нашему вопросу.

А. Д. Галахов в «Истории русской словесности», во втором издании, которое вышло в 1880 г., посмотрел на Радищева глазами Пушкина, прямо ссылаясь на статью последнего и сохраняя даже всю страстность ее тона. Первым и основным грехом Радищева Галахов считает то, что автор «Путешествия» вращался «в сфере общего и отвлеченного» и не принимал в соображение «строя жизни, выработанного историей» [2]).

На ту же точку зрения, но с бо̀льшим благодушием, чем Галахов, стал и другой историк литературы, И. Я. Порфирьев. Приведя резолютивные места из статьи «Александр Радищев», Порфирьев замечает: «При всей строгости этого приговора Пушкина, и критика нового времени не находит возможным отвергнуть его», а в доказательство приводятся цитированные мною выше слова Анненкова [3]).

В 1881 г. В. Я. Стоюнин издал свою монографию о Пушкине. В ней, между прочим, он воспользовался статьей Пушкина о

[1]) А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. Том IX, стр. 275.

[2]) В. Е. Якушкин ссылается на 2-е издание 1880 г., т. I, ч. II, стр. 273—276. Я цитирую по третьему изданию (1894 г.), т. I, отд. 2, стр. 275. Тот же взгляд на Радищева высказан Галаховым и в статье «Историко-литературные вопросы», написанной по поводу книги Стоюнина «О преподавании русской литературы» (С.-Петерб. Ведом., 1864, № 122. Подпись: Красов.)

[3]) История русской словесности, ч. II, отд. 2. Первое издание 1884 г. Цитирую по второму изданию, 1888 г.

Радищеве для характеристики «гражданского положения» поэта и усмотрел в ней определенную публицистическую тенденцию. Пушкин тридцатых годов, по его мнению, «только сделался практичнее, убедившись, что один в поле не воин; он стал более на историческую почву, отказываясь от прежних теоретических воззрений на жизнь. Но он остался при своих честных гражданских убеждениях, которые вызывали его служить делу общенародному; а оно отождествлялось в то время с делом государственным». Статья о Радищеве, думает Стоюнин, написана «с видимым намерением высказать, в какие отношения он, как журналист, станет к правительству» [1]). Не спроста Пушкин упрекает Радищева за излишнюю горячность, говоря, что автору «Путешествия» следовало бы в благожелательном тоне указать правительству и умным помещикам на способы к постепенному устранению недостатков русской жизни, а не выступать с своим дерзким злоречием, ведь правительство не пренебрегало советами людей просвещенных и мыслящих. «Нельзя не видеть», говорит Стоюнин [2]), «настоящей цели, с какой написаны эти строки. Из них само собою вытекало следующее заключение: правительство, которое поступает иначе, дает оправдание Радищевым в их противозаконных поступках. Из всего этого мы убеждаемся, что Пушкин, отрекаясь от некоторых своих прежних взглядов, не отрекался от своей личности, т.-е. от свободы своей мысли».

Серьезное внимание интересующим нас статьям уделил М. И. Сухомлинов в своей работе о Радищеве (1883) [3]). Он высоко ценит заслугу Пушкина, который, «можно сказать, открыл Радищева и для своих современников, и для русской литературы вообще», и обещает «посмотреть прямыми глазами и на самого Пушкина, как писателя, и не открытого им Радищева, отделив, в су-

---

[1]) *В. Стоюнин*. Историческия сочинения. Ч. II. Пушкин. Спб. 1881. Стр. 365.

[2]) Ibidem, стр. 368.

[3]) *М. И. Сухомлинов*. Изследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. I, 642—654. Первоначально работа эта печаталась въ 32-м томе Сборника II отд. Ак. Н., потом отдельно.

жденнях Пушкина о Радищеве, существенные, основные черты от всего того, что̀ навеяно злобою дня». Сухомлинов не сомневается в том, что Пушкин «признавал Радищева крупною литературною величиною», и своими статьями имел в виду «познакомить современное ему общество с произведением писателя, несправедливо преданного забвению». «Указывая недостатки Радищева, как писателя, Пушкин выставляет и светлые стороны, и перед вами является сочувственный образ человека, совершенно чуждого каких-либо рассчетов и не способного мириться со злом, господствовавшим в общественной жизни». Возражая против некоторых суждений Пушкина о Радищеве, Сухомлинов выдвинул два обстоятельства, которые, по его мнению, могли повлиять на тон пушкинских статей. Это, во-первых, полемическое раздражение против литературных врагов. «И внутренний смысл, и даже тон нападок на Радищева»,—пишет Сухомлинов,—«показывают, что не все они направлены по его адресу и что за Радищевым скрывается, в иных случаях, другое лицо». Именно из-за Радищева выступают «ненавистные черты Полевого, уронившего себя в глазах Пушкина и загробною враждою к Карамзину и журнальною дружбою к Булгарину». Так всю характеристику Радищева, как представителя полупросвещения, надо отнести к Полевому. Тем более, что в рукописи значатся следующие слова, потом зачеркнутые: «отымите у него (т.-е. у Радищева) честность; в остатке будет Полевой». Во-вторых, по мнению Сухомлинова, нужно помнить, что Пушкин находился под давлением цензурных страхов: «При оценке статьи Пушкина, не следует забывать и о том обстоятельстве, что автор находился в ту пору под двойною, и, пожалуй, даже под тройною цензурою. Чтобы добиться возможности напечатать «в его жестокий век» статью о государственном преступнике с выписками из книги, за которую он приговорен к смертной казни. Пушкину надо было как можно ярче выставить свое неодобрение поступку Радищева и отклонить всякое подозрение в своем политическом единомыслии с человеком, в котором он признавал и необыкновенную силу духа, и рыцарскую совестливость. Пушкин предвидел затруднения, угрожавшие ему со стороны цензуры, но

не в силах был отклонить их. Цензура не пропустила статьи Пушкина, как он ни «перехитрил ее из цензурных видов» (650 стр.).

Значит, Стоюнин и Сухомлинов приписывают Пушкину известную публицистическую тенденцию, а Сухомлинов, кроме того, воскрешает старую идею Герцена («перехитрил»).

Писал об отношениях Пушкина к Радищеву, далее, проф. А. И. Незеленов в 1883 г.,—в очерках «Литературные направления в екатерининскую эпоху», которые печатались сначала в «Историческом Вестнике» за 1882—1887, а отдельной книгой вышли в 1889 г. [1]). Как Галахов и Порфирьев, Незеленов, при оценке Радищева, всё время держит в памяти Пушкина. Воззрения поэта на Радищева, «разновременные и даже одновременные», кажутся Незеленову (как ранее Добролюбову) «противоречивыми и неясными». Тем не менее в своих суждениях он исходит именно из Пушкина, разжижая его своими моральными размышлениями и делая из его мыслей иногда весьма своеобразное употребление. Так, Пушкин выразился, что, если вспомнить условия, при которых появилось «Путешествие», то «преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего». Незеленов ухватился за эту фразу и пишет: «Нечаянно высказанная гениальным писателем догадка, быть-может, и поясняет всё дело. Не был ли Радищев, этот «фанатик», поступивший, очевидно, очертя голову, непостижимо опрометчиво, не был ли он человеком, одержимым манией? Наклонность к мании у него несомненно была. Так, можно заметить, что его всю жизнь преследовала idée fixe — постоянная мысль о самоубийстве» и т. д. [2]). В рецензии на работу Сухомлинова о Радищеве Незеленов еще раз коснулся пушкинских статей [3]). Ана-

---

[1]) Собрание сочинений проф. А. И. Незеленова. Т. IV. Стр. 310—311, 337—340, 393.

[2]) В заметках 1889 г. «Новые отрывки и варианты сочинений Пушкина» по рукописям Румянцевского музея Незеленов также применяет к Радищеву эпитет «сумасшедшего человека», но с ограничительной оговоркой в скобках «как думал Пушкин». (Шесть статей о Пушкине. Спб. 1892. Стр. 71).

[3]) Первоначально в «Истор. Вестнике», 1883, дек. Перепечатано в приложениях к книге «Литерат. направления в Екатерининскую эпоху».

лиз Сухомлинова он нашел «чрезвычайно интересным» и «весьма остроумным», но автор, по его мнению, «недостаточно рассмотрел, или как-то оставил в тени то, что Пушкин говорит против «Путешествия из Петербурга в Москву». Нам кажется, что в отношениях Пушкина к Радищеву была двойственность, которую сам поэт не мог себе выяснить и распутать».

Теперь нам надлежит перейти к Якушкину, но предварительно спросим себя, что́ же, в конце-концов, было сделано до него для уяснения пушкинских статей. Я оставлю в стороне всё, что относится к квалификации этих статей: здесь дело сводится к общественно-политическим убеждениям самих исследователей, к их «либерализму» или «консерватизму», а это в данном случае совершенно неважно. Основной вопрос состоит в том, каково было действительное отношение Пушкина к Радищеву в тридцатых годах. Большинству исследователей взгляд Пушкина кажется неясным. Добролюбов уличает Пушкина во внутренних противоречиях, Незеленов—в той же «двойственности». По мнению Стоюнина, Пушкин затемнил свой действительный взгляд тем, что хотел косвенным образом изложить свои писательские требования к правительству, а Сухомлинов полагал, что Пушкин в скрытом виде полемизировал с Полевым. Значит, в обоих случаях Пушкин примешал к оценке Радищева побочные, публицистические цели, и нужно уметь отделять эту незаконную лигатуру от драгоценного металла его мыслей о Радищеве. Наконец, Герцен и Сухомлинов подозревают, что Пушкин в угоду цензуре постарался завуалировать свои мысли и, может-быть, «перехитрил». Только Анненков, Галахов и Порфирьев твердо уверены, что Пушкин высказал свой подлинный взгляд на Радищева, взгляд строгий, но справедливый.

III.

Резюмируя, с своей стороны, результаты, к которым пришли писавшие до него, Якушкин говорит [1]: «Односторонность—общий

---

[1]) Стр. 21—22 оттиска из «Чтений» или стр. 25 сборника «О Пушкине».

недостаток указанных противоположных отзывов: они судят о статьях Пушкина по их внешности, т.-е. отделив их совершенно от других его отзывов о Радищеве и от общего его направления; если же иные критики и ставят эти статьи в связь с общим направлением поэта, то при этом они очень часто, вместо того, чтобы выяснить внутреннюю сущность взглядов Пушкина, просто, без особых оснований, кричат о великой перемене в николаевском Пушкине, о его «благонамеренности» и благоразумии и, как на главное доказательство, указывают на те же статьи о Радищеве. Логическая ошибка ясна, положение остается недоказанным» [1]). В виду этого Якушкин ставит себе целью—«выяснить истинный смысл статей Пушкина о Радищеве, сопоставив их с другими его отзывами об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву», и с общим его направлением» [2]), и, таким образом, решить вопрос: как считать авторитетный голос Пушкина,—за или против Радищева» [3]).

Ход рассуждений Якушкина—таков. В александровскую эпоху Пушкин был настроен либерально. Он—друг декабристов и почитатель Радищева. Известны его отзывы об авторе «Путешествия» в письме к Бестужеву от 1823 г. и в первом послании к цензору (1824). Под влиянием Радищева написал Пушкин свою оду «Вольность» (1820) и, может-быть, «Бову» (1815) [4]). Вероятно. Радищев помог Пушкину понять значение Тредьяковского, к которому поэт относился с таким сочувствием в своих мелких заметках. Несомненно, что Пушкин «с молодых лет знал Радищева, высоко ценил его, признавал за его сочинениями важное значение, подпадал их влиянию» [5]).

---

[1]) На стр. 32, прим. 54 оттиска или на стр. 37, прим. 57 сборника, Якушкин без труда опровергает предположение Сухомлинова относительно скрытых намеков на Полевого.

[2]) Стр. 22 оттиска или стр. 26 сборника.

[3]) Стр. 11 оттиска или стр. 13 сборника.

[4]) На стр. 27 сборника в прим. 41 говорится, что последнее предположение оправдалось.

[5]) Стр. 24 оттиска или стр. 28 сборника.

В тридцатых годах, продолжает рассуждать Якушкин, поэт остался верен самому себе. Идеи двадцатых годов, идеи декабристов попрежнему дороги ему, попрежнему он остается певцом этих идей («Арион»). Но благоразумно не пускается в открытое море, где уже погибли его товарищи пловцы. «Пушкин остался как бы наследником, единственным, главным представителем и носителем общественных идей 20 годов, и чтобы охранить их, этот, так сказать, груз, спасенный им из погибшего челна, он решил не ставить их в резкое противоречие с победившим строем, выставлять и проводить их насколько возможно при «общепринятом порядке» [1]). «Его общественные идеи в сущности остались те же, но он, для их распространения и осуществления в пределах возможного, впредь должен употреблять уже другие средства» [2]). Отныне Пушкин намерен действовать «не против силы вещей, не против правительства, а по возможности с ним, через него» [3]). Этот принцип его деятельности «может быть приблизительно охарактеризован современным французским термином оппортюнизм (употребляю, конечно, это слово в благородном его значении» [4]). «Общие его идеи те же, но взгляд на средства для их проведения другой» [5]). Оппортюнизм, при тяжелых условиях николаевского режима, вызвал для Пушкина необходимость употреблять иносказательный, «эзопский язык, для того, чтобы проводить в литературе свои взгляды, т.-е. взгляды 20 годов» [6]).

Таким «эзопским» языком и написаны загадочные статьи Пушкина о Радищеве. Их цель—пропагандировать Радищева; в них мы видим «особенно яркое выражение указанных общественных стремлений поэта, его иносказательной проповеди прогрессивных идей, или, как он говорит, просвещения» [7]). Пушкину нужно бы-

---

1) Стр. 44—45 оттиска или стр. 52—53 сборника.
2) Стр. 45 оттиска или стр. 53 сборника.
3) Стр. 45 оттиска или стр. 54 сборника. Курсив автора.
4) Стр. 43 оттиска или стр. 51 сборника. Курсив автора.
5) Стр. 48 оттиска или стр. 56 сборника. Курсив автора.
6) Стр. 47 оттиска или стр. 56 сборника.
7) Стр. 57 оттиска или стр. 68 сборника.

ло замаскировать свое действительное отношение к Радищеву, усыпить бдительность цензуры. Книга Радищева, уверяет Пушкин, лишена литературных достоинств, скучна. «Цель этих уверений ясна: скучная, ничего не стоящая книга не может быть опасна» [1]. Пушкин не скупился на жесткие эпитеты в своих отзывах о книге и даже личности Радищева, но ведь всё это «было неизбежно в статье о Радищеве в то время, если только автор писал для печати» [2]. Говоря о гонимой книге государственного преступника, «писатель 30 годов должен был прежде всего заявить свою благонамеренность, торжественно отречься от пагубных заблуждений преступного Радищева» [3]. В сущности Пушкин разделяет идеи Радищева и возражает ему очень мало, но свое сочувствие старается прикрыть «часто повторяемыми порицаниями дерзкого и преступного мечтателя» [4]. Если Пушкин называет Радищева «представителем полупросвещения», так это «тоже очень понятно на ряду с признанием его преступником: если бы не назвать Радищева полупросвещенным, пришлось бы самое просвещение признавать подозрительным, а... все стремления Пушкина, чуть не с первых месяцев нового царствования, были направлены к тому, чтобы примирить правительство с идеей просвещения, чтобы рассеять в нем опасный предрассудок, что просвещение ведет к неблагонамеренности» [5]. В одном случае Пушкин прибег даже к такому pia fraus: он упрекает Радищева, что тот не указал способов к постепенному улучшению состояния крестьян, тогда как в «Путешествии» представлен целый проект именно постепенного освобождения крестьян. Пушкин «намеренно» умолчал об этом [6].

Словом, все обвинения, какие высказывает Пушкин по отношению к Радищеву, лишь «образчик эзопского языка», «лишь

---

[1] Стр. 26 оттиска или стр. 30 сборника.
[2] Стр. 26 оттиска или стр. 30 сборника.
[3] Стр. 26 оттиска или стр. 30—31 сборника.
[4] Стр. 28 оттиска или стр. 33 сборника.
[5] Стр. 30—31 оттиска или стр. 35 сборника.
[6] Стр. 31, прим. 52, оттиска или стр. 36, прим. 55, сборника. Выражение «намеренно» подчеркнуто самим Якушкиным.

ширмы, прикрывающие истинный, противоположный смысл» [1]). Статьи Пушкина о Радищеве можно сравнить с следственными показаниями самого Радищева, но с тою, однако, разницей, что у Радищева это было невольно, поэтому его легче обличить в противоречиях, Пушкин нарочно закрывает нападками на Радищева свое сочувствие к его идеям» [2]). «В конце-концов», говорит Якушкин [3]), — «при внимательном и беспристрастном разборе статей Пушкина невозможно не признать, что они сочувственно относятся к идеям Радищева, не нападают на них, а скорее их проповедуют». «Цель статей—проповедь передовых идей; форма их, внешние нападки на Радищева,—средство для возможности проповеди, иносказание, «эзопский язык» [4]). Как известно, обмануть цензуру Пушкину не удалось, и это служит косвенным доказательством «неблагонамеренности» Пушкина [5]).

Так Якушкин «дешифрировал» иносказательный язык Пушкина и так истолковал «истинный смысл» его статей о Радищеве [6]).

IV.

Выводы Якушкина заслонили собою все предыдущие мнения и сделались поворотным пунктом в истории вопроса.

А. Н. Пыпин приветствовал его «прекрасную, исполненную интереса работу» [7]). Ее автор пришел «к новому взгляду на поэта, не совсем совпадающему с наиболее распространенными мнениями, и защищает этот взгляд с большим жаром и знанием дела». По общему вопросу о Пушкине в николаевскую эпоху Якушкин сделал новый подбор фактов и дал своему взгляду «столь

---

[1]) Стр. 26 оттиска или стр. 31 сборника.
[2]) Стр. 33 оттиска или стр. 38 сборника.
[3]) Ibidem.
[4]) Стр. 51 оттиска или стр. 60 сборника.
[5]) Стр. 19 оттиска или стр. 22 сборника.
[6]) Стр. 25 оттиска или стр. 30 сборника.
[7]) В. Евр., 1887, февраль. Литературное Обозрение, стр. 870—878. Подпись «А. Н.».

категорическую форму, что вопрос, кажется, должен, наконец, выйти из области спорных предположений к прочному выводу. Относительно статей о Радищеве, г. Якушкин в первый раз поставил дело ясно и в сущности верно. Заметим только одно: едва ли не был прав тот критик, который находил, что Пушкин «перехитрил». В самом деле, не даром же статьи Пушкина производили почти на всех новейших критиков впечатление враждебных Радищеву, почти совершенно отрицающих его историческую заслугу и вообще таких, где вынужденной уступкой являлись не порицания, а похвалы. Последний объект литературного произведения есть все-таки читатель: мы видели, какое впечатление оставляли статьи Пушкина в читателях, не совсем неопытных, как г. Анненков и последующие историки литературы, повторявшие его суждения. Необходимо было, разумеется, разъяснить отсутствие солидарности Пушкина с г. Галаховым, Сухомлиновым, Порфирьевым и пр., но надо и согласиться, что статьи Пушкина, при всей их важности по своему времени, все-таки по упомянутым обстоятельствам были неясны, а с другой стороны, по существу, оставляли в вопросе много темного—напр., его сторону историко-психологическую... Во всяком случае, однако, статья г. Якушкина составляет весьма ценный вклад в разъяснение нашего великого поэта».

Вслед за Пыпиным в том же «Вестнике Европы» отозвался на работу Якушкина В. Д. Спасович [1]). Статьи Пушкина производят на него мало благоприятное впечатление. «С самим Радищевым»,—говорит он,—«Пушкин обращается тут довольно пренебрежительно и свысока, называет слог его надутым и напыщенным, его самого — истинным представителем полупросвещения, вечно кому-нибудь подражающим и отражающим криво, как в кривом зеркале, всю французскую философию XVIII века, писателем дерзким, с которым приходится соглашаться только изредка и поневоле». Поэтому писатели консервативного лагеря приходили в

[1]) В. Евр. 1887, апрель. Статья «Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого», стр. 784—785. Вошла также в собрание сочинений В. Д. Спасовича т. II; см. стр. 278—281.

восторг от статей Пушкина, а писатели прогрессивного и либерального лагеря видели в них отступничество поэта от прежних начал. Якушкин «попытался восстановить славу и доброе имя Пушкина посредством согласования обоих мнений», доказывая, что Пушкин писал эзоповским языком, а действительным его намерением было воскресить память о великом писателе. «В этом,—продолжает Спасович, — может быть доля правды; но остается невыясненным то, не замаскировал ли себя Пушкин до того, что ввел в заблуждение всех своих читателей и достигнул цели, прямо противной предполагаемым его намерениям... Такою ценою едва ли стоило оплачивать даже и распространение в публике сведений о Радищеве». Знаменитый адвокат усомнился в адвокатских приемах как Пушкина, так и Якушкина. «Всякие возможные попытки истолковать загадочную рукопись в смысле, благоприятном Пушкину в конце-концов, требуют новых объяснений»,—замечает он. Во всяком случае, придется признать одно из двух: либо то, что Пушкин в более зрелых летах охладел к идеалам своей молодости, либо то, «что опровержение Радищева было только преувеличенным «оппортунизмом», доведенным до того, что надетая маска могла плотно пристать к лицу, и в сознании и совести начали совершаться трудно объясняемые сделки между добрыми пожеланиями и невольным преклонением пред признаваемым непреодолимым господством зла».

Пыпину приходилось еще несколько раз касаться пушкинских статей о Радищеве, и теория Якушкина, видимо, начинала удовлетворять его всё менее и менее. В «Истории русской этнографии» [1]) нашлось место для следующего замечания: «Отношение Пушкина к Радищеву было двойственное, но в известной статье Пушкин о нем судит очень сурово». Неблагоприятный кивок в сторону Якушкина Пыпин сделал затем в «Характеристиках литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов», когда заговорил «о том объяснении, какое хотят дать им (т.-е. пушкинским статьям)

---

[1]) Т. I. Спб. 1890. Стр. 205. Первоначально печаталось в «В. Евр.» за 1881 - 1888 годы.

теперь, именно видя в них желание напомнить о Радищеве и его заслугах, насколько можно было сделать это с уступками цензуре». Пыпин разделяет сомнение Спасовича, которого вслед затем и цитирует [1]). Уже совсем меланхолически звучат немногие строки, которые отведены Пыпиным пушкинским статьям о Радищеве в «Истории русской литературы» [2]). «Радищеву,—читаем здесь, — Пушкин посвятил две обширные статьи (1834, 1836), смысл которых до сих пор не вполне ясен для биографов. Пушкин подверг «Путешествие из Петербурга в Москву» суровому осуждению, признавая, впрочем, в некоторых случаях благородство его мыслей и правдивость: биографы затрудняются решить, было ли это осуждение действительным мнением Пушкина, или это был искусственный прием, чтобы получить возможность говорить о Радищеве в виду цензурных затруднений. Во всяком случае, Пушкин давно признавал за Радищевым большое значение».

Мнение Якушкина, показавшееся, в конце концов, не вполне убедительным Пыпину и Спасовичу, получило весьма широкое распространение, хотя и не могло устранить дальнейших разногласий.

Критически отнесся к гипотезе Якушкина В. А. Мякотин [3]). Он соглашается, что многое в статьях Пушкина должно быть объяснено «цензурными соображениями автора», но отказывается приложить такое объяснение ко всем резким местам. «Некоторые оговорки,—пишет Мякотин, повторяя мысль Спасовича,—во всяком случае были настолько сильны,—если не по существу, то по выражениям,—били так далеко, что ценою их, пожалуй, и не стоило покупать сообщение русским читателям нескольких сведений о Радищеве». «Если всё это лишь оговорки, сделанные по посторонним соображениям, то читателю довольно трудно было

---

1) Я пользуюсь вторым изданием, 1890 г. Стр. 84. Первое издание составилось из статей «В. Евр.» за 1872—1873 годы. Во втором издании глава о Пушкине значительно расширена на основании новой литературы 80-х годов.

2) Т. IV, стр. 354 - 355. Вышел первым изданием в 1899 г.

3) «Из пушкинской эпохи». По поводу сборника Л. Н. Майкова «Пушкин» 1899). Вошла в сборник «Из истории русского общества» (1902). Стр. 299—301.

бы определить истинное мнение Пушкина». Чтобы сделать свои доводы относительно эзопского языка более убедительными, Якушкин сравнивает статьи Пушкина с показаниями самого Радищева. Но ведь Радищев давал показания Шешковскому и в тюрьме, Пушкин же предназначал свои статьи для публики. «Самая возможность подобного сравнения всего лучше доказывает, что Пушкин в своих статьях перешел меру возможных оговорок, а это, в свою очередь, объясняется некоторым изменением в его взглядах и выработавшейся наклонностью к компромиссам... Считать Пушкина в николаевскую эпоху выразителем общественных идей 20 годов было бы неправильно. И в предшествующую эпоху к Пушкину было бы не вполне приложимо подобное определение, а еще менее возможным стало оно в 30 годах, когда сам Пушкин не мало изменился».

Пушкинист Н. О. Лернер в статье «Проза Пушкина», напечатанной в 6 выпуске «Истории русской литературы XIX в.», изд. т-ва «Міръ» (1909), кратко, но весьма определенно освещает отношение Пушкина к Радищеву. Об иносказательном языке у него нет и помину. Для Н. О. Лернера несомненно, что суть дела—в политических воззрениях Пушкина. «Призрак революции,—пишет он (стр. 418),—пугал Пушкина, который, наконец, дошел до того, что не мог говорить спокойно о Радищеве и его книге... Как ни хотелось Пушкину соблюсти в своих отзывах о Радищеве известный оттенок уважения к памяти честного писателя, так смело высказавшего свои убеждения и так тяжко за это поплатившегося,—чувство злобы в конец ослепило его, и он закончил свою статью словами, обличающими чудовищное непонимание Радищева» [1]).

Вот в сущности и все голоса, в которых слышится отрицание эзопской гипотезы. Зато Якушкин собрал себе немало сторонников.

---

[1]) Попутно коснулся взгляда Пушкина на Радищева также *Евг. Соловьев* (*Андреевич*) в «Очерках по истории р. литературы XIX века» (1-е издание—1902, стр. 4; 3-е изд. 1907, стр. 4). Статья Пушкина о Радищеве,—говорит он,—является «странным» источником для оценки автора «Путешествия»: «Пора бы с этим источником распроститься и признать справедливость слов Герцена о нем».

Примкнул к Якушкину В. И. Семевский в книге «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века» [1]).

На Якушкина ссылается Алексей Н. Веселовский в своих очерках «Западное влияние в новой русской литературе», начиная со второго издания (1896 г.) [2]) и кончая последним, пятым (1916) [3]).

Не расходится с Якушкиным, но, повидимому, опирается только на Сухомлинова С. А. Венгеров, перепечатавший статью Пушкина «Александр Радищев» в I т. «Русской поэзии» (1897) рядом с биографической запиской Николая Радищева об отце и предпославший им небольшую вступительную заметку [4]).

На стороне Якушкина оказались, далее П. А. Ефремов и П. О. Морозов.

Беру последнее ефремовское издание. В VIII томе (1905 г.) имеются примечания редактора к пушкинским статьям о Радищеве [5]). И он считает «несомненным», что Пушкин, из цензурных соображений, «свое изложение постарался прикрыть, даже до излишества, суровым по внешности отношением к ней (т.-е. к книге Радищева) с нелестными эпитетами и фразами», а во второй статье усилил «внешний облик порицания» даже «до невозможных пределов». В заключение Ефремов рекомендует «для подробного ознакомления с значением обеих статей Пушкина» обратиться «к прекрасной статье В. Е. Якушкина», к статье А. Л. Слонимского и к исследованию Стоюнина «Пушкин».

П. О. Морозов выразился лаконически, но красноречиво: «Лучшим комментарием к обеим статьям Пушкина о Радищеве является статья В. Е. Якушкина: «Радищев и Пушкин» [6]).

---

[1]) Т. II, стр. 261—262. Спб. 1888.

[2]) Стр. 197. Первое издание книги вышло в 1883 г.

[3]) Стр. 177.

[4]) Стр. 822.

[5]) Стр. 556—561.

[6]) Сочинения и письма А. С. Пушкина. Под ред. П. О. Морозова. Издание Т-ва «Просвещение». Т. VI, стр. 641—642.

Вполне на якушкинской точке зрения стоит А. Л. Слонимский, автор статьи «Политические взгляды Пушкина» (1904 г.)[1]. По его мнению, чем больше узнаем мы великого поэта, тем бо́льшую силу получает утверждение, «что Пушкин до конца жизни оставался верен традициям двадцатых годов». Идеалы остались те же, «изменился только взгляд его на способ проведения их в жизнь». Наученный 14 декабря, Пушкин «отложил в сторону вопрос о форме правления, как слишком преждевременный для России, но в остальном заветы декабристов сохранили для него всё свое значение». Разгадка — в реализме пушкинского миросозерцания, которое сам поэт однажды назвал прозаическим, в противоположность поэтическим мечтаниям[2]. «Истинный характер деятельности Пушкина», полагает А. Л. Слонимский, «указан В. Е. Якушкиным в статье «Радищев и Пушкин». Г. Якушкин разрушает легенду о консерватизме Пушкина и между прочим доказывает, что мнимо полемические статьи Пушкина против Радищева были вызваны исключительно желанием напомнить публике о знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву». Заключение Якушкина автор находит «бесспорным».

В 1905 г. мы снова встречаемся с повторением взгляда Якушкина, именно в статье Н. П. Сильванского «Жизнь Радищева», приложенной к изданию «Путешествия» под редакцией названного лица и П. Е. Щеголева. Статья «Мысли на дороге» написана с «утрированною благонамеренностью», говорится здесь[3]; во второй статье многое прибавлено «по цензурным соображениям». «Статья Пушкина («Александр Радищев») вся представляет собою пеструю смесь замечаний искренних, и оговорок и рассуждений лицемерных. Помня о той страшной славе, какою пользовалась в то время, время крепостного рабства, книга Радищева, резко вооружившаяся против этого рабства, Пушкин постарался скрыть свою мысль в тумане благонамеренных нападок на Радищева. Но

---

[1]) «Историч. Вестник» 1904, июнь, стр. 970—986.

[2]) «Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли не от этого прав», пишет Пушкин А. А. Бестужеву.

[3]) Стр. LXVII.

этот туман до сих пор производит неприятное впечатление, мешая разглядеть истинные мнения Пушкина. Герцен верно заметил, что Пушкин «перехитрил» свою статью по цензурным соображениям. Он хотел не столько указать истинное значение Радищева, сколько, так или иначе, снять запрет с его имени, вновь обратить общее внимание на его книгу. И он едва не достиг своей цели, потому что Уваров нашел статью «недурной» [1]).

Пришлось заговорить о пушкинских статьях М. К. Лемке, как редактору «Первого полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова» [2]). Добролюбов, замечает М. К. Лемке, «очень остроумно вскрывает противоречия Пушкина в его статье о Радищеве», и затем продолжает: «В настоящее время предполагают, что отрицательное отношение Пушкина к Радищеву в значительной мере объясняется желанием его провести статью сквозь цензуру... Но, конечно, кое в чем Пушкин и искренно не соглашался с Радищевым, по причине своих общественных убеждений полосы 1830 годов». Склоняется М. К. Лемке и к предположению Сухомлинова, что местами Пушкин «целил в Николая Полевого, с которым вел тогда сердитую полемику».

Всецело принимает взгляд Якушкина В. В. Водовозов, как видно из его статьи «Политические и общественные взгляды Пушкина в последний период его жизни», напечатанной в VI т. Пушкина, под редакцией С. А. Венгерова (в 1915 г.). Он пишет (стр. 370—371, прим.): «Свой взгляд на крепостное право, не в виде художественных картин, а в теоретической форме Пушкин выска-

---

[1]) По хронологической связи и для полноты обзора назову еще заметку *В. И. Чернышева* «Пушкин и Радищев», датированную 1906 годом и напечатанную в издании «Пушкин и его современники», вып. V (1907), стр. 125-127. Автор отмечает два возможных случая влияния на Пушкина со стороны Радищева (мнение о характере русских народных напевов и оценка Тредьяковского) и в заключение говорит, что было бы «трудом не бесплодным» дальнейшее сравнение взглядов Пушкина и Радищева. Кстати прибавлю, что еще *М. Туманов* отметил, что суждения Радищева о характере русских песен повторены Пушкиным, Гоголем и Некрасовым (в двух последних случаях, вероятно, без всякого влияния Радищева). «В Евр.», 1904, февр., стр. 659—660, статья «А. Н. Радищев».

[2]) Т. I. Спб. 1912. Стр. 562.

зал в двух статьях: «Мысли на дороге» (1833. V, 247) и «Александр Радищев» (1836, V, 336), но высказал эзоповским языком, с такими оговорками и ограничениями, очевидно, прибавленными только для цензуры (и все-таки не спасшими их от запрещения), что не сразу можно даже понять, что автор хочет сказать; однако при внимательном и критическом чтении делается ясно, что Пушкин почти целиком подписывается под радищевской оценкой крепостного права с его торговлей живыми душами промотавшегося и проигравшегося помещика, с его рекрутчиной, насильственными браками и проч. Смысл этих произведений Пушкина, долгое время не понятый, был превосходно разъяснен В. Якушкиным в статье «Пушкин и Радищев», перепечатанной в его книге «О Пушкине», М. 1899» [1]). В. В. Водовозов говорит главным образом о взгляде Пушкина на крепостное право. В этой части своих статей (т.-е. преимущественно «Мысли на дороге») Пушкин менее всего подает повод искать у него эзоповских выражений. Но Водовозов думает, что вообще смысл пушкинских статей о Радищеве «превосходно разъяснен В. Якушкиным».

Последнее слово в данном споре принадлежит Вл. Льв. Бурцеву. Высказано оно в «Русских Ведомостях» в ноябре 1916 г., в фельетоне «Об изучении рукописей Радищева» [2]). Статьи Пушкина Вл. Л. Бурцев называет «замечательными», хотя и знает, что поэту «приходилось всячески изворачиваться перед цензурой и затушевывать главные свои мысли о нем». «Покойный В. Е. Якушкин», продолжает Вл. Л. Бурцев, «в свое время блестяще выступил

---

[1]) Стр. ibidem стр. 379, прим.

[2]) «Русские Ведомости», 1916 г. № 259 (9 ноября) и № 265 (16 ноября). Цель статьи—собрать сведения о сохранившихся рукописях Радищева. Между прочим, автор сообщает, что «благодаря любезному разрешению бывшего министра иностр. дел Д. С. Сазонова», он имел возможность познакомиться с рукописью «Путешествия», находящейся теперь в Государственном Архиве, и сличить ее с печатным текстом. Вместе с тем он жалуется, что «о рукописях Радищева нет почти ни слова даже при собраниях его сочинений». Повидимому, Вл. Л. Бурцеву неизвестно, что издание «Путешествия» Н. П. Сильванского и П. Е. Щеголева сделано как раз по этой рукописи, и что к изданию приложена обстоятельная статья о ней, написанная П. Е. Щеголевым.

в защиту Пушкина по поводу его статей о Радищеве и, мне кажется, неопровержимо доказал, что они являются не его ошибкой, а его литературной и гражданской заслугою». По мнению Вл. Л. Бурцева имена Радищева и Пушкина—неотделимы одно от другого. В будущем они «будут связаны еще теснее. Между Радищевым и Пушкиным—бездна различий, но есть что-то такое, что их имена прочно спаяло навсегда». Пушкин—«один из гениальных учеников Радищева»; никогда не расставался он с своим учителем. «Еще в 1836 году, накануне своей смерти, Пушкин вложил так много ума и сердца в то, что он говорил о Радищеве». Всё более и более воодушевляясь, Бурцев, повидимому, давно не перечитывавший статей Пушкина, патетически восклицает: «Радищев... всегда был для Пушкина, всю его жизнь, путеводной звездой. В конце своей жизни Пушкин отдал дань своего глубокого признания Радищеву в двух своих статьях, которые для меня являются гимном имени Радищева и не чем иным».

Итти дальше Бурцева, конечно, никто не решится.

Итак, В. Е. Якушкину посчастливилось приобрести многих последователей и даже такого пламенного продолжателя, как Вл. Льв. Бурцев [1]).

Мне кажется, что Якушкин шел по совершенно ложному пути и сильно запутал вопрос. Не увлекаясь полемикой с каждым исследователем в отдельности, попытаюсь изложить свое понимание дела.

V.

Совершенно очевидно, что Якушкин стремился реабилитировать репутацию поэта, как либерала, который и в «жестокий век»

[1]) Проф. В. В. Сиповский в монографии о Пушкине обошел молчанием вопрос об отношении поэта к Радищеву.—Из пушкинистов не высказывались также ни М. О. Гершензон, ни П. Е. Щеголев.—Нет ничего на интересующую нас тему и в обстоятельной статье М. Туманова «А. Н. Радищев» (В. Евр., 1904, февраль), если не считать опровержения слов Пушкина, будто «все прочли книгу Радищева и забыли ее» (702).—Дальше мне придется остановиться на работе *Н. Мизинова* «Пушкин—сын века» вошедшей в состав его сборника «История и поэзия» (М. 1900). Статья его относится еще к 1899 г., и в ней оказалось сходство с моими основными мыслями. Об Якушкине Мизинов однако ничего не говорит.

Николая продолжал быть знаменоносцем декабризма. Он не мог допустить мысли, чтобы Пушкин стал отрицать Радищева. Если об этом говорят слова поэта, то не таковы его действительные мысли. Надо заглянуть под маску, и тогда увидишь настоящее лицо. Идея об «эзопском» языке так легко могла прийти в голову русскому литератору 80-х годов XIX века. В этом отношении характерно следующее рассуждение Якушкина в его статье «Радищев и Пушкин». Д. Морлей в монографии о Дидро с удивлением и презрением говорит об обыкновении французских писателей XVIII века употреблять иносказательные выражения для передачи своих нецензурных мыслей. «Мы русские», пишет Якушкин [1]), «не можем разделять благородного удивления англичанина: для нас совершенно понятно употребление иносказаний в литературном языке. Иносказательный язык, «эзопский», как его называет сатирик, давно уже составляет особенность нашей литературы». Этот невеселый факт, разумеется, общеизвестен. В частности еще Герцен жаловался, что в образованных государствах каждый писатель старается о том, чтобы полнее раскрыть свою мысль, у нас же «весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами» [2]).

Но что такое этот «эзопский» язык, цель которого—провезти контрабандный товар через цензурные шлагбаумы?

За ответом обратимся к одному из самых авторитетных в этом вопросе писателей, к тому сатирику, на которого намекает Якушкин. В серии очерков под названием «Круглый год» (1879 г.), именно, в августовском очерке, М. Е. Салтыкову-Щедрину пришлось объясняться с своими читателями pro domo sua. И сатирик, между прочим, говорит [3]): «... Ежели в писаниях моих и обретается что-либо неясное, то никак уж не мысль, а

---

[1]) Стр. 25 оттиска или стр. 29-30 сборника.

[2]) А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под редакцией М. К. Лемке. Т. III, стр. 54 (дневник под 6 ноября 1842 г.).

[3]) М. Е. Салтыков. Полное собрание сочинений. 3-е изд. Т. IX, стр. 571—572.

разве только манера. Но и на это я могу сказать в свое оправдание следующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ровно ни при чем... Повторяю: это манера несомненно рабья, но при соответственном положении общества вполне естественная, и изобрел ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными».

И действительно, прибегая к рабьему языку, подневольный писатель об одном умалчивал, на другое лишь намекал полусловами или условными выражениями. Так, например, в разное время приходилось поступать с жупельными понятиями «крепостное право», «конституция» и т. п. Но русский писатель-эзоп никогда не брал на себя роли хулителя, если его настоящей целью было возбудить сочувствие к известному явлению. Рабья манера,—говорит Салтыков, «нимало не затемняет моих намерений». Нужно предполагать в писателе слишком ничтожный талант и слишком малую опытность, если, в конце-концов, читатель остается в полном недоумении относительно его истинных взглядов.

Применима ли подобная точка зрения к Пушкину?

По мнению Якушкина, Пушкин сам держался того взгляда, что «русскому писателю иногда необходимо прибегать к иносказаниям», и в подтверждение приводит слова поэта, направленные против «молодых якобинцев», нападавших на Карамзина [1]). Несколько отдельных мыслей Карамзина в пользу самодержавия, «красноречиво опровергнутых верным рассказом событий», — писал Пушкин,—казались русским якобинцам «верхом варварства и униже-

[1]) Стр. 51, прим. 89 оттиска или стр. 60, прим. 96 сборника. Слова Пушкина приведены здесь неполно.

ния». «Они забывали», замечает поэт, «что Карамзин печатал историю свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности, некоторым образом, налагал на Карамзина обязанность возможной скромности и умеренности». Полагаю, что Пушкин не приписывает тут автору «Истории Государства Российского» антимонархических тенденций, якобы скрытых в рассуждениях о значении самодержавия, а отмечает лишь «скромность и умеренность» его выражений.

Важнее для нас другое: свойственно ли было самому Пушкину пользоваться тем «эзопским» языком, о котором говорит Якушкин?

В одном месте своей работы [1]) Якушкин замечает, что, кроме статей о Радищеве, «можно бы привести еще примеры, но только все в прозе, в журнальных статьях: в стихах, всегда выливавшихся у Пушкина из души, он не мог употреблять «эзопский язык». Не будем придирчивы и не поставим вопроса: так, значит, проза Пушкина вообще выливалась не из души? так, значит, и статьи о Радищеве не подсказаны искренним, душевным порывом напомнить о дорогом ему имени Радищева? Существенно то, что в стихах Пушкин не прибегал к эзоповскому языку. «Искренность драгоценна в поэте», говорил он (Венг. V, 288).

Если Пушкин берется за перо сатирика, то всегда делает это с полной искренностью и прямотой: тогда торжественным гулом раздаются его лапидарные фразы, ударные слова (как в пьесе «Лицинию»), или слышится свист бича, которым Христос изгонял недостойных из храма (как в стихотворениях «Чернь», «Клеветникам России») [2]). Правда, прибегает он порою и к «иносказанию», но как? Выдавая свое произведение за перевод с латинского или за подражание. Так поступил он по отношению к своим пьесам «На выздоровление Лукулла» и «Лицинию» [3]). Но этот

---

[1]) Стр. 47 оттиска или стр. 56 сборника.

[2]) Вспомним также стихотворение «О муза пламенной сатиры» (183[illegible]).

[3]) В стихотворении «На выздоровление Лукулла» Пушкин, как известно, имел в виду эпизод с выздоровлением гр. Шереметева. Пьеса «Лицинию» не совсем разгадана. Догадка В. Я. Стоюнина, что автор метил здесь в Аракчеева,

иносказательный покров ни разу не мешал читателю видеть, что поэт одобряет и что он порицает.

Уместно, пожалуй, вспомнить здесь «Историю села Горюхина», своего рода прототип «Истории одного города» Салтыкова. По поводу нее А. С. Искоз также говорит об эзоповском языке автора. В «Истории села Горюхина», — рассуждает Искоз [1]), — Пушкин хотел нарисовать широкую картину крепостной России в николаевскую эпоху, и его «История» «должна была бы прозвучать неслыханным укором вековым устоям русской жизни, грозным осуждением всему ее укладу. Думается, что это одно могло уже заставить Пушкина старательно скрываться, пользоваться своеобразным, в своем роде весьма изящным, эзоповским языком, в котором слабее всего звучали бы субъективные нотки, меньше всего отражалась бы доподлинная личность его. Влияние бенкендорфщины могло сказаться даже бессознательно: не то, чтобы поэт намеренно прятался за чьей-либо спиной, а ему просто не приходила на ум откровенная форма, в которой он мог бы говорить за себя. Вот почему, быть-может, он заставляет рассказывать эту «историю» Белкина, сам же ограничивается ролью постороннего слушателя. Тем более роль эта вполне подходит для него, как художника-юмориста, глядящего на жизнь несколько издалека и не пылающего страстным гневом, толкающим старика на постоянное вмешательство в ход событий и на порою надоедливые вставки и примечания, которыми изобилует, например, «История одного города» Щедрина».

Допустим, что всё это—так. Но стиль «Истории села Горюхина», во всяком случае, не имеет ничего общего со стилем статей о Радищеве.

недостаточно убедительна (Пушкин, Стр. 44—45). Ср. статью проф. А. И. Маленина в «Пушкине», под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. I., стр. 214. Своеобразно взглянул на дело Н. Мизинов. «Сатира Пушкина «К Лицинию», говорит он («История и поэзия», 514), «повидимому, написана на Наполеона, и здесь—защита свободы Франции».

[1]) Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова. Т. IV, стр. 241—242.

Когда «черный медведь» цензуры безнадежно загораживал поэту дорогу, он умел благородно молчать, беречь написанное про себя и даже придумывать такой способ, который помешал бы постороннему глазу проникнуть в смысл написанного. С этой именно целью употребил он свой хитрый шифр для X главы «Евг. Онегина», который так счастливо был раскрыт П. О. Морозовым [1]).

В полемических статьях Пушкин, иногда, пользовался «китайскими анекдотами» или ироническим иносказанием. Феофилакт Косичкин был горячий полемист и утихал, по его словам, «не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного». В частности Пушкин прибегал и к тому литературному жанру, когда хула сознательно облекается в форму похвалы и обратно («Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Похвальная речь моему дедушке» Крылова, «Похвальное слово сну» Батюшкова, «Похвальное слово невежеству» Одоевского и т. п.). Такова, напр., статья «Торжество дружбы». Но иносказания этого рода опять-таки бесконечно далеки от тона статей о Радищеве. Жаль, что Якушкин сам не привел никаких параллельных примеров.

Невозможно согласиться и с догадкой Сухомлинова, что заостренные стрелы пушкинской критики в сущности направлены не в Радищева, а в Полевого. Во-первых, в данном случае Пушкину не было никакой надобности прибегать к подобному «иносказанию»: ведь он мог полемизировать с Полевым совершенно открыто, что он и делал. Во-вторых, крайне невероятно, чтобы Пушкин решил принести Радищева в жертву каким бы то ни было временным полемическим интересам, и, с целью покарать Полевого, стал приписывать Радищеву недостатки Полевого, которых автор «Путешествия» на самом деле не имел. В-третьих, называя Радищева представителем полупросвещения, Пушкин говорит о просвещении XVIII в. Если же Пушкин в других своих статьях упрекает также и Полевого в невежестве или полупросвещении, так это свидетельствует лишь о том, что поэт—верен самому себе.

---

[1]) Пушкин и его современники, вып. XIII и XVI.

что он пользуется одним и тем же критерием при оценке людей, что полуневежды, кто бы они ни были, всегда вызывали его осуждение. Единственно, что возможно было бы признать, это разве кое-какие попутные намеки на Полевого и, пожалуй, еще то, что полемика с Полевым, конечно, вместе с другими причинами, до некоторой степени могла способствовать усилению раздражительности в поэте. Не нужно, однако, забывать, что острый период пушкинской борьбы с Полевым падает на 1830 год, а наиболее резкие слова о Радищеве (в том числе и фраза о полупросвещении) сказаны Пушкиным во второй статье, значит, в 1836 г. «Иносказания» в сухомлиновском смысле не было и не могло быть.

В статьях о Радищеве Пушкин вышел перед нами с открытым забралом. Говорит то, что, именно, хотел сказать, без всякой pensée arrière. Статьи выдержаны в тоне откровенной убежденности. Черновая рукопись главы «Шоссе» содержит следующие интересные строки: «Я начал записки свои не для того, чтобы льстить властям: товарищ, мною избранный, — худой внушитель ласкательства; но не могу». Из последующего видно, что поэт не мог не отметить факта, что наше правительство шло всегда впереди на поприще образования и просвещения, и что это дает силу нашему самодержавию [1]). В одном месте «Мыслей на дороге» (Венг. V, 259) Пушкин так подчеркнул прямоту своих суждений: «Я сказал откровенно и по чистой совести мнение мое о свободе книгопечатания, столь же откровенно буду говорить и о цензуре». А ведь это—сюжеты весьма деликатного свойства, не менее щекотливые, чем тема о Радищеве и крестьянском вопросе. Пушкин не побоялся признать справедливости фактов, которые приводятся в «Путешествии», не побоялся благородно заявить: «Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства» (Венг. V, 261). Если же он все-таки порицает Радищева, то, очевидно, делает это в силу своих убеждений. В. Е. Якушкин как-то не замечает,

[1]) Сочинения и письма А. С. Пушкина под ред. П. О. Морозова. Изд. «Просвещения», т. VI, стр. 642, прим. 2-е

что его апология подчас хуже осуждения. Эзоповский язык Пушкина в данном случае всё равно не достигал той цели, какую приписывает ему Якушкин. Нельзя не согласиться с Спасовичем, что «такою ценою едва ли стоило оплачивать даже и распространение сведений о Радищеве». Более того, мнимый эзоповский язык легко может подать повод к обвинению Пушкина «в лицемерии и двоедушии», против чего сам Якушкин с негодованием восстает в одном месте своей работы [1]). Н. П. Сильванский en toutes lettres уже назвал оговорки и рассуждения Пушкина «лицемерными», а он, как мы знаем, стоит на точке зрения Якушкина. Очевидно, сам В. Е. Якушкин сильно «перехитрил».

Эзоповскую гипотезу нельзя принять как раз потому, что все мнения Пушкина, высказанные в статьях о Радищеве, могут быть объяснены путем сопоставления с другими его суждениями и общим его направлением в 30 годах; т. е., пользуясь в сущности тем же методом, что и Якушкин, мы должны будем совершенно отвергнуть его основной вывод.

VI.

Критические замечания Пушкина о Радищеве сводятся к трем главным пунктам: 1) к указанию литературных недостатков «Путешествия», 2) к оценке образа действий Радищева, как общественного деятеля и писателя и 3) к оценке его образа мыслей.

Книга Радищева принадлежит к тому литературному жанру «путешествий», который был одним из любимых в эпоху сентиментализма. «Путешествие» — не просто публицистический трактат, а именно, литературное произведение в собственном смысле этого слова, богатое жанровыми картинками, эпизодическими лицами-типами, лирическими излияниями и даже игрою воображения, рядом со всеми идейными предпосылками сентиментализма (демократизмом, руссоизмом, чувствительностью). Самые рассуждения автора чаще всего облекаются в одежду литературного

[1]) Стр. 25 оттиска или стр. 29 сборника.

вымысла: влагаются в уста какого-нибудь типичного лица, или передаются в форме сновидения. По «Путешествию» Радищева можно изучать сентиментальный стиль не хуже, чем по «Письмам русского путешественника» и по «Бедной Лизе» Карамзина [1].

Пушкин тоже подошел к произведению Радищева, прежде всего, как литературный критик. И это в высшей степени интересно: мы видим суждение гениального художника о литературном стиле для него недавнего прошлого.

Отношение Пушкина к прозе Радищева безусловно отрицательное. В «Путешествии», на его взгляд, нет цельной композиции. «Радищев написал несколько отрывков... В них излил он свои мысли без всякой связи и порядка»,—говорит Пушкин (248) [2]. А, главное, книга написана очень скучным, напыщенным языком. Выписав в приложении к «Ал. Радищеву» главу «Клин», где Радищев рассказывает, как слепой старик пел стих об Алексее Божием человеке,—Пушкин восклицает: «Вот каким слогом написана вся книга!» Действительно, это одна из самых характерных страниц «Путешествия», написанная в стиле сентиментального ресторизма. О ней идет речь и в «Мыслях на дороге» (255—256). Передав ее содержание, Пушкин замечает здесь: «Имя Вертера, встречаемое в начале главы, поясняет загадку. Вместо всего сего пустословия, лучше было бы, если бы Радищев, кстати о старом и всем известном Стихе, поговорил нам о наших народных песнях, которые до сих пор еще не напечатаны, и которые заключают в себе столь много истинной поэзии. Н. М. Языков и П. В. Киреевский сообщили их несколько». Пушкину претит сентиментальное пустословие. В Пешках Радищев съел кусок говядины, выпил чашку кофе и принялся размышлять об африканских невольниках и русском крестьянстве. «Всё это было тогдашним модным краснословием», говорит Пушкин (260). В главе «Медное» Радищев рисует картину продажи крепостных людей. Пушкин признал ее

[1]) Сжатую, но очень содержательную оценку «Путешествия» в художественном отношении дает Н. П. Сильванский (издание 1905 г., стр. IX-X).

[2]) Здесь и в дальнейшем я цитирую статьи Пушкина по изданию Брокгауза и Эфрона, под редакцией проф. С. А. Венгерова (т.V).

не только ужасной, но и правдоподобной, однако, прибавил (257): «Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях». Вообще, по мнению Пушкина, у Радищева «порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного» (340). Слово о Ломоносове, на взгляд Пушкина, написано «слогом надутым и тяжелым» (250).

Прозаический слог Радищева вообще «варварский» (340), и «Путешествие»—книга, посредственная и скучная (248, 338, 340); «первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны» (338). Эти недостатки, разумеется, не мешают «Путешествию» быть книгой «любопытной». Понятие о скуке, возражает сам же Пушкин (247), весьма относительное: «Книга скучная может быть очень хороша; не говорю о книгах ученых, но и о книгах писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что Клариса очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство». Факт, однако, остается фактом. Литературный стиль «Путешествия» не по вкусу Пушкину. Прозаический язык Радищева везде старомоден и тяжел. По поводу его философского рассуждения «О человеке и его смертности и бессмертии» Пушкин отозвался: «Умствования оного пошлы и не оживлены слогом» (339). Стихи Радищева, по мнению Пушкина, лучше его прозы. Поэт видит известные достоинства в стихотворениях Радищева «Осьмнадцатое столѣтіе», «Сафические строфы», «Журавли», в первой песне «Бовы»; находит «много сильных стихов» в оде «Вольность» и ставит ему в заслугу то, что «он первый писал у нас древними лирическими размерами» (256, 339—340) [1]). Между прочим, Пушкин думал, что поэма «Алеша Попович» также принадлежит А. Н. Радищеву (в действительности, это—произведение его сына, Николая), и жа-

[1]) Стихотворение «Осьмнадцатый вѣкъ», замечает он, писан «древним элегическим размером» (339).

лел, что оно не включено в собрание его сочинений. В упрек Радищеву Пушкин вменяет то, что в «Бове» и в «Алеше Поповиче» видно подражание Вольтеру, а «нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода». Вообще Радищев, по мнению Пушкина, не был крупным писателем: «он вечно кому-нибудь да подражал». И стихами он писал лучше, чем прозою, потому, что в прозе «не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык».

Таким образом, Пушкин дает вполне определенную характеристику Радищева, как писателя. И делает это не с целью цензурной captatio benevolentiae, как думал Якушкин, а потому, что таковы его литературные воззрения. Доказательств этого более чем достаточно.

Поэтика XVIII в. твердо помнила, что поэзия—родная сестра «оратории». Недаром Ломоносов свое руководство озаглавил: «Риторика, показующая общие правила обоего красноречия, т.-е. оратории и поэзии». Для Тредьяковского поэзия—«другой род краснословия», «токмо сама элоквенция, в другую одежду наряженная, другим способом обогащенная». Поэзия не отделима от «краснословия». Так понимали дело и так писали классики и сентименталисты. Радищев не составлял исключения. В своих показаниях он говорил о книге Рейналя: «Слог его мне понравился. Я высокопарный (ampoulé) его штиль почитал красноречием.. я захотел подражать его слогу» [1]). Стиль Радищева можно назвать сентиментально-реторическим. Уже Карамзин протестовал против напыщенности слога своих современников и нередко соратников. Тем более Пушкин. Он весь—благородная простота. Наиболее по душе была ему строгая гармония классического стиля. Прекрасно выразился Гоголь, говоря о пушкинской антологии: «Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими, и оглушает падением всей массы, но если

---

[1]) Письмо Радищева Шешковскому. Полное собрание сочинений А. Н. Радищева. Редакция В. В. Каллаша. Т. II, стр. 602—603.

отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, всё просто, всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия». Особенно это нужно сказать о Пушкине той поры, когда в свой поэтический бокал воды он много подмешал, когда он обратился к «презренной прозе» [1]).

«Точность, опрятность—вот первые достоинства прозы», писал Пушкин в заметке еще 1824 г. о слоге (Венг. IV, 476): «Она требует мыслей и мыслей—блестящие выражения ни к чему не служат—стихи дело другое». Он иронизирует над русскими писателями, «которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами». «Эти люди,—поясняет он,—никогда не скажут **дружба**, не прибавив: сиё священное чувство, коего благородный пламень и пр.—должно бы сказать: рано поутру—а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба.—Как всё это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?» Вместе того, чтобы просто сказать «молодая хорошая актриса», театральный рецензент непременно напишет: «сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном» и пр. Характерно сделанное тут же замечание: «Вольтер может почесться прекрасным образцом благоразумного слога. Он осмеял в одном своем Микромегасе изысканность выражений Фонтенеля,—который никогда не мог ему того простить» Пушкин «почти согласен» также с философом Д'Аламбертом, который упрекал Бюфона за то, что он писал о лошади таким языком: «благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и проч.». Хотя, вообще говоря, слог Бюфона, «цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы». Французскую прозу Пушкин ценил очень высоко и желал, чтобы русская усвоила ее достоинства: ясность и точ-

[1]) Прекрасную оценку пушкинской прозы дал Н. О. Лернер в «Истории русской литературы XIX века», изд. Т-ва «Міръ», выпуск 7-й.

несть. В своих замечаниях на статью Вяземского об Озерове (1826—1828 г.г.) Пушкин не раз делает строгие указания на излишний реторизм стиля. «Да говори просто: ты довольно умен для этого», советует он (Венг. IV, 486). Слова Вяземского «и совсем поглотила его бездна забвения» Пушкин заменил такими: «и совсем его забыли (проще и лучше)» и т. п. Проповедник «благоразумного слога», Пушкин беспощадно преследовал напыщенную реторику и приторную маниловщину.

Вот несколько его отзывов, относящихся к 30 годам.

В своей сочувственной заметке о молодом И. В. Киреевском (Венг. V, 9) Пушкин осудил его «изысканное» выражение, что древняя муза Дельвига «покрывается иногда душегрейкою новейшего уныния». «Зачем не сказать было просто: в стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии?» (1830 г.). Пушкина не шокируют «простота и даже грубость выражений» в катенинской «Ольге»—сравнительно с «Людмилой» Жуковского: «сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною». Катенин, по его словам, показал нам «Ленору» Бюргера «в энергической красоте ее первобытного создания». (Венг. V, 228). В поэзии трубадуров Пушкину не нравятся «натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним» и с сожалением говорит о «несчастных следах» этой поэзии в величайших гениях новейших времен (1834 г.; Венг. V, 292). В слоге Н. Ф. Павлова, автора «Трех повестей», вообще говоря, «чистом и свободном, изредка отзывается манерность», и Пушкин не может не поставить этого в минус талантливому беллетристу (1835; Венг. V, 325). Сравнивая современных ему французских писателей с прежними, Пушкин говорит в статье 1836 г. «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности» (Венг. V, 347): «Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности», нынешние любят выставлять порок торжествующим и находят в сердце человеческом только эгоизм и тщеславие. Этот взгляд «вскоре так же будет смешон и приторен, как чопорность и торжественность романов Арно и г-жи Котен». Во «Фракийских

элегиях» Теплякова Пушкин встретил выражения: «тишина гробницы, громкая как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова, которые святее ропота воли». «Всё это,—говорит Пушкин,—не точно, фальшиво, или престо ничего не значит» (1836 г.; Венг. V, 366). В числе существенных недостатков Теплякова он вообще считает «надутость», «напыщенность» и «неточность» (ibid., 369). Слог Словаря о святых Пушкин ставит в образец для всех ученых словарей, потому что «он прост, полон и краток» (1836; Венг. V, 371). В том же самом месте «Мыслей на дороге», где Пушкин называет слог Радищева «надутым и тяжелым», он дает отрицательную характеристику схоластически-величавой прозы и утомительно-надутых од Ломоносова, замечая при этом: «Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности—вот следы, оставленные Ломоносовым».

Я не стану множить подобных ссылок. Несомненно, у Пушкина был весьма устойчивый взгляд на литературный стиль (в широком значении термина) и на слог. И о Радищеве, как писателе, он сказал как раз то, что должен был сказать. Автор «Путешествия» для него — писатель отжившей, манерной школы, писатель XVIII века.

Мы знаем, каким стилем Пушкин рассказывал о своих «путешествиях». Замечательно, что в «Мыслях на дороге» он как будто хотел перерисовать картину Радищева, начавши буквально с другого конца. Прием характерный для Пушкина. «Путешествие» Радищева, как мы знаем, напомнило ему «Кларису» Ричардсона. «Клариса» не спроста подвернулась под перо Пушкина. Еще в «Отрывках из романа в письмах» (1829—1830) он дал этот роман в руки своей героине, Лизе, и заставил ее рассуждать в том же духе о достоинстве «Кларисы», о степени ее скучности (Венг. IV, 134). Умная читательница высказала здесь и общую интересную мысль. Странно,—говорит она,—в 1825 году читать роман, писанный в 775. «Кажется, будто вдруг из своей гостиной выходишь в старинную залу, обитую штофом, садишься на атласные пуховые кресла, видишь около себя странные, однакож зна-

комые платья и лица и узнаешь своих дядюшек и бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства: происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять здесь готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки—и вышел бы прекрасный, оригинальный роман». Алексею П. Лиза советует по старой канве вышивать новые узоры, представив в маленькой раме картину света и людей, которых он столь хорошо знает. Так, именно, Пушкин и поступил с «Рославлевым» Загоскина. И теперь, судя, по крайней мере, по началу «Мыслей на дороге», Пушкин хотел последовать совету Лизы—дать собственные путевые очерки, пользуясь канвой Радищева. Вспомним остроумное вступление с изложением мотива, почему он вздумал съезять из Москвы в Петербург, где будто бы не бывал «более пятнадцати лет», с воспоминанием о старой дороге, с рассужденьем о русских дорогах вообще, с наполовину вымышленным рассказом о том, как досталась ему книга Радищева. А далее—блестящая, совершенно независимая от Радищева картина Москвы тридцатых годов. Вспомним и «разговор с англичанином», который предназначался для «Мыслей на дороге». Если бы Пушкин закончил свое произведение, мы имели бы не только критику писательской манеры Радищева, но и произведение того же литературного жанра («путешествие»), написанное, однако, совершенно иным языком и в ином стиле.

VII.

Чисто литературная оценка «Путешествия», конечно, не была главной задачей Пушкина. Его занимали личность и идеи Радищева. Уже один горячий тон статей, особенно второй, указывает на то, что для Пушкина здесь речь идет о чем-то необычайно важном и интимно-близком. Писатель екатерининского века чем-то больно затронул Пушкина, и он заговорил страстным языком, как будто имел дело с своим современником, как будто он решал вопросы, касавшиеся непосредственно его самого. Тут не «чувство злобы»

к Радищеву, как предположил Н. О. Лернер, а настоящая душевная тревога. Необходимо вдуматься в источник этого настроения. Оно станет понятным, если мы приведем в систему все обвинения, какие Пушкин предъявляет Радищеву, и если поставим их в связь с идейными переживаниями поэта в период тридцатых годов.

Пушкин не отрицает, что самые факты жизни, о которых говорит Радищев, верны; не раз он даже дополняет рассказ Радищева своими наблюдениями. Но автор «Путешествия», по мнению Пушкина, часто сгущает краски и преувеличивает значение изображаемых явлений. Так, описывая русскую избу, Радищев «начертал карикатуру», не замечая своих противоречий. Сам он упоминает о бане и о квасе, как о необходимостях русского быта, это уже — «признак довольства». «Замечательно, — присовокупляет Пушкин,—что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: и начала сажать хлебы в печь» (260). Вообще у Радищева «сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы» (340). У него «желчью напитанное перо» (248). В его книге «дерзость мыслей и выражений выходит из всех пределов» (258). У Радищева «дерзкие мечтания» (258). С «безумной дерзостью» бросает он вызов «верховной власти» (250). Преступление Радищева кажется «действием сумасшедшего»: «Мелкий чиновник, человек, без всякой власти, без всякой опоры, дерзает вооружаться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!» Книга, исполненная «безумных заблуждений», доходит до государыни. «Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры» (338). Правда, в поступке Радищева видны «дух необыкновенный», «удивительное самоотвержение и какая-то рыцарская совестливость», но он—«политический фанатик», и преступление его ничем нельзя извинить (338). «Путешествие»—«сатирическое воззвание к возмущению» (338). В Радищеве живет дух революционера. «Он (т.-е. Радищев),—рассуждает Пушкин (340),—как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить?

Он: поносит власть господ, как явное беззаконие: не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян? Он злится на цензуру: не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и Мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвой бессмысленной своенравной Управы; а с другой—чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной?» [1]). Радищев пренебрег этими средствами, хотя и имел основание рассчитывать на благожелательный отклик со стороны правительства. «Какую цель имел Радищев? Что именно желал он? На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно». Поэтому-то «влияние его было ничтожно». Все прочли его книгу и забыли [2]). В ней было «несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений», но беда в том, что они облечены «в бранчивые и напыщенные выражения», «с примесью пошлого и преступного пустословия». «Они,—заключает Пушкин свою статью «Александр Радищев», — принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением, ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви».

Словом, писатель Радищев действовал, как дерзкий и безрассудный преступник. В нем не видно величия истинного гражданина; в тоне его речей не чувствуется благоволения и любви; в его суждениях нет той глубины, какая дается человеку широким просвещением. «Мы,—говорит Пушкин во второй статье,—никогда не почитали Радищева великим человеком» (338).

Радищев рисуется Пушкину человеком «чувствительным и пылким» (339), честным и кротким, но неглубоким. В молодости

---

[1]) Пушкин доволен лишь историческим повествованием Радищева о цензуре: «если бы вся книга была написана, как этот отрывок, то, вероятно, она бы не навлекла грозы на автора» (259).

[2]) И в «Мыслях на дороге» (248) Пушкин утверждает, что книга Радищева, некогда прошумевшая соблазном», потеряла «свою заманчивость».

учился он поверхностно. «Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы, по крайней мере, быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его» (337). Радищев—питомец французского XVIII века. За границей ему и его товарищам попался в руки Гельвеций. «Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики... Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия XVIII столетия, она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением Гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях, и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник Молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешения вечной загадки, не воображая, что, в свою очередь, они заменятся другими» (337). В России, в обществе мартинистов Радищев окончательно укрепился в своем «философическом вольнодумстве» (337) [1]. «В Радищеве,—продолжает Пушкин (340),—отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя, но всё в нескладном и искаженном виде, как все предметы криво отража-

---

[1]) О принадлежности Радищева к мартинистам говорят Лонгинов (Сочинения, стр. 228, 380, 416, издание Бухгейма) и Г. В. Вернадский («Р. масонство в царствование Екатерины II», 106). Но ср. в биографии Радищева, написанной Н. П. Сильванским и приложенной к изданию «Путешествия» 1915 г. (стр. XXXIII—XXXIV). Павел Ал. Радищев к соответствующим словам Пушкина делает такое замечание (Р. Вестн., 1858, т. XVIII, стр. 429). «В франкмасоны записывались тогда все порядочные люди, и сам Потемкин был член масонской ложи. Радищев часто сказывал об обрядах их приема и смеялся над ними, как и все».

ются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения». «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные, поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему—вот что мы видим в Радищеве»,—категорически заявляет Пушкин (340) [1].

Таков взгляд Пушкина на Радищева. Поэт говорит нам, что автор «Путешествия», во имя идеи народовластия, проявил революционный радикализм, что он—бунтарь и фанатик, лишенный чувства исторической действительности; что характер радищевского мировоззрения и его тактики обусловливается прежде всего недостаточностью полученного им образования; что, коротко говоря, Радищев — представитель полупросвещения XVIII века.

Мог ли Пушкин не осуждать человека, которому он приписывал такие идеи и такие качества? Я решительно утверждаю, что здесь нет и тени эзоповского языка, что Пушкин сказал то, что хотел сказать. Искренность и точность каждой его мысли можно подкрепить неоспоримыми данными.

VIII.

Вопрос может быть безошибочно решен лишь путем сопоставления статей о Радищеве с другими произведениями Пушкина за тот же период. Тогда окажется, что разбираемые статьи вовсе не стоят изолированно, а теснейшим образом связаны с мировоззрением и настроением Пушкина.

По вполне законной ассоциации дело Радищева вызвало в Пушкине воспоминание о заговоре декабристов. Недавний певец де-

---

[1]) Зараза осталась неискоренимой в сердце Радищева. В трактате «О человеке и его смертности и бессмертии» Радищев, рассуждает Пушкин, «хотя и вооружается противу материализма, но в нем всё еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» (339). Пушкин, как видим, не совсем верно истолковал трактат Радищева, и нашел в нем новое основание для обвинения

кабризма, автор «Вольности» и «Кинжала», Пушкин не мог забыть о восстании своих молодых друзей—якобинцев. Эпопея декабризма произвела на него глубокое впечатление.

Нет никакого сомнения, что речь идет именно о декабристах, когда Пушкин в «Мыслях на дороге» вменяет в заслугу умозрительной немецкой философии то, что «она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения» (250). Бесспорно, что к личностям декабристов Пушкин продолжал питать уважение, живо интересуясь их участью. Как Радищева, так и многих декабристов поэт считал преступниками «с духом необыкновенным», «с удивительным самоотвержением и с какою-то рыцарскою совестливостию». Но перед сознанием Пушкина все же вставал вопрос о том, целесообразен ли путь, который они избрали, и на который, пожалуй, он сам готов был вступить?

Вспомним еще давние стихотворения поэта «Вольность» и «Кинжал». Тем более, что первое из них обычно сближают с одою Радищева. Даже молодой Пушкин, в пору своего декабризма, в сущности не пел гимнов революции, а только свободе. Революционные акты он сопровождает эпитетами «преступный», «бесславный» и зовет всех, а прежде всего царей, «под сень надежную закона». Политическая мудрость, по его пониманию, состоит в сочетании «законов мощных» с «вольностью святой».

Весьма поучительна в этом отношении также записка Пушкина «О народном воспитании» (1826). Пусть она составлена по поручению правительства, но поэт выразил в ней и свое собственное мнение. На мой взгляд, «пушкинского» в ней содержится гораздо больше, чем обыкновенно полагают [1]). Здесь определенно намечены многие пункты той аргументации, которою потом Пушкин воспользуется в своих статьях о Радищеве.

«Преступные заблуждения» молодых людей произошли вследствие «недостатка просвещения и нравственности». Подобно

[1]) Ср., напр., статью Н. О. Лернера в «Пушкине», под ред. С. А. Венгерова, III. стр. 339—340.

Радищеву, молодежь 20 годов училась мало и плохо, и поэтому легко поддалась влиянию «чужеземного идеологизма». Это—первое и в глазах Пушкина весьма существенное обстоятельство. Пушкин хорошо знал грустные последствия той системы образования, когда все «учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Сам он всегда стремился «в просвещении стать с веком наравне» и от каждого литератора требовал серьезной образованности. Писателя Пушкин представлял себе таким, каков был Карамзин, а из молодых—И. В. Киреевский. Карамзина он всегда ставил в пример. 30 ноября 1825 года поэт писал А. А. Бестужеву: «Ты—да, кажется, Вяземский—одни из наших литераторов—учатся; все прочие разучаются. Жаль! высокий пример Карамзина должен был их образумить» [1]. Полевого Пушкин преследует за французское (только новейшее) полупросвещение и обусловленную им самонадеянность, которая, между прочим, выразилась у него в высокомерной оценке Карамзина. Естественно, что свой упрек он повторит и по адресу Радищева, который, по его мнению, также учился плохо и не получил систематического образования [2]. В записке о народном воспитании поэт высказывает убеждение, что лишь «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». Мало того, Пушкин берет на себя труд определить, каким должно быть это просвещение. Оно должно быть научным и основательным. Пример—Н. Тургенев, воспитывавшийся в геттингенском университете: «несмотря на свой политический фанатизм [3], (он) отличался посреди буйных своих сообщников нравственностию и умеренностию, следствием просвещения истинного и положительных познаний». Среди этих положительных познаний Пушкин неслучайно особо видное место отводит истории. Ведь роковая ошибка дека-

---

[1]) Переписка Пушкина, под ред. В. И. Саитова. Т. I, 307.

[2]) Разумеется, предположение Сухомлинова, что Пушкин в этом случае имеет в виду собственно не Радищева, а Ник. Полевого, весьма неудачно. В. Е. Якушкин привел вполне убедительные возражения (стр. 32, прим. 54 оттиска или стр. 37, прим. 57 сборника).

[3]) Вспомним, что «политическим фанатиком» называет Пушкин и Радищева.

бристов состоит в том, что «политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий». Ведь вообще «всякое изменение постановлений, освященных временем и привычкою», влечет за собою «беспорядки бесчисленные». На своем горьком опыте декабристы увидели, с одной стороны, «ничтожность своих замыслов и средств, с другой—необъятную силу правительства, основанную на силе вещей». Предохранить от этих политических ошибок может только история. Широко и беспристрастно излагая историю в школах, «можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных». «Вообще не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны». «Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. История государства российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». Последняя фраза, как увидим, сказана Пушкиным вовсе не с тем, чтобы произвести благоприятное впечатление на своих высокопоставленных читателей. Когда молодые дворяне, продолжает рассуждать поэт-публицист,—лучше познакомятся с историей России, с ее статистикой и законодательством, они в состоянии будут «служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно, усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве». Кажется, в записке «О народном воспитании» скорее всего можно бы ожидать «эзопского» языка, но Пушкин высказал здесь те самые общественно-политические и исторические идеи, которые с удивительной последовательностью повторял затем в тридцатых годах [1]).

---

[1]) По сообщению Вульфа, Пушкин говорил: «Мне легко было бы написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро». (Л. Майков. Пушкин. Спб. 1899. Стр. 177). Между прочим в записке Пушкин решился употребить даже такую фразу: «в России всё продажно»

Итак, говоря о декабристах, Пушкин отрицательно высказывается о самом плане восстания и склонен объяснять его возникновение в умах русской молодежи 20 гг. тем, что, вследствие недостаточности своего образования, вследствие поверхностного знакомства с историей, она увлеклась «чужеземным идеологизмом», не поняла особенностей русской истории и вообще легкомысленно отнеслась к законам политической жизни.

Всё это нужно иметь в виду при оценке статей о Радищеве.

Расшифрованные в 1910 г. П. О. Морозовым строфы из X главы «Евгения Онегина» дают новое доказательство того, что к 1830 г. Пушкин выработал себе вполне отчетливый взгляд на движение декабристов. Пусть эта характеристика относится лишь к Северному, а не к Южному обществу, как это доказывает Н. О. Лернер, но нельзя не видеть, что поэт отнесся к декабристам и к их «мятежной науке» с суровой критикой [1]). Из программы «Русского Пелама» (1835) между прочим видно, что Пушкин собирался изобразить здесь «общество умных» (Илью Долгорукова, Сергея Трубецкого, Никиту Муравьева etc.), следовательно, декабристов. Эпитет «умных» звучит иронически.

Тридцатые годы были вообще временем неспокойным. Июльская революция 1830 г., польское восстание 1831 г., холерный бунт 1830 г., революционная фронда Герцена и его московских друзей—всё это снова и снова ставило вопрос о тактике при разрешении политических вопросов. Чаадаев, с своей стороны, в длинном письме усиленно обращал внимание Пушкина на смысл политических событий 1831 г., называя их «всеобщим горем», «погибелью мира» [2]). Неслучайно, в виду этого, целый ряд произведений Пушкина, именно, в период тридцатых годов разрабатывает проблему бунта. Пушкин трудится в это время над историей пугачевского бунта и издает ее в 1834 г., пишет «Капитанскую дочку» (1833—1836), «Дубровского» (1832—1833). «Сцены из рыцарских времен» (1835) содержат тот же мотив бунта. Даже скромный

[1]) Пушкин и его современники. Вып. XIII и XVI.—Пушкин, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 212—215.

[2]) Ibid., стр. 261—4.

герой «Медного всадника»—бунтарь против державца полумира. Пушкин покарал его безумием, как и Радищев кажется ему сумасшедшим. К Евгению и к Радищеву как будто одинаково адресованы слова: «мелкий чиновник, человек без всякой власти, без всякой опоры, дерзает вооружаться противу общего порядка, противу самодержавия» [1]).

Всюду Пушкин осуждает бунт против власти; особенно пугает его «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», типа пугачевщины. А Радищев как раз угрожал помещикам новой пугачевщиной [2]).

Еще А. В. Станкевич верно заметил, что Пушкин усматривал в Радищеве «пример для поучения». Когда прошла «бурная и кичливая молодость» Радищева, говорит поэт,—он смирился, он «даже переменил образ мыслей». И укорять за это не приходится. Пушкин пускается тут в общие рассуждения, почти в лирические излияния (338—339): «Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом иль с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют». Ужасы французской революции заставили содрогнуться «чувствительного и пылкого» Радищева. «Мог ли он,—говорит Пушкин (339),—без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный.

---

[1]) Модест Гофман верно заметил: «Чрезвычайно характерно, что внимание Пушкина привлекали страницы истории, отмеченные борьбой: бунт Вадима, бунт Степана Разина, бунт Пугачева, самозванец Димитрий, бурная эпоха Гиганта—Петра»... Но никаких выводов автор из этого не сделал. Статья о «Капитанской дочке» в IV томе венгеровского издания, стр. 358.

[2]) Из черновой рукописи «Мыслей на дороге» видно, что в одном месте Пушкин выражал сожаление по поводу революционного настроения Москвы: «Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбающихся при вести о наших неудачах». Издание «Просвещения», под ред. П. О. Морозова, т. VI, стр. 643, прим. 8-е.

однажды, львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сантиментального тигра». Правда, под старость Радищев снова «предался своим прежним мечтаниям» (339), но Пушкин не хотел бы повторять его ошибки, или, что то же, ошибки своей молодости, ошибки декабристов.

Наш поэт уже не тот, что раньше. Смирились гордые мечтания его весны. В его отношении к жизни больше спокойствия, больше зрелой уравновешенности, больше объективного созерцания, больше поэтической и философской мудрости. Вспомним «Из VI Пиндемонте» [1]).

Определенно свидетельствует Пушкин о происшедшей в нем перемене, напр. во французском письме 1835 г. к Осиповой. Минуло десять лет и—«que d'événements, que de changements en tout, à commencer par mes propres idées, ma situation, etc. etc.». Сознательно отказывается он теперь «противоречить общепринятому порядку».

Мне нет возможности, да и надобности касаться вопроса о «перемене» Пушкина во всем его объеме [2]). Но нельзя не видеть, что перемена эта касается самых основ его общественно-политического миросозерцания. Облюбованный Якушкиным термин «оппортюнизм»—узок и недостаточен, но всё же оттеняет

---

[1]) Об этом умонастроении Пушкина говорится у меня в этюде о «Памятнике». Здесь я останавливаюсь лишь на одной стороне, которая является, так сказать, практическим выводом из общих предпосылок.

[2]) По затронутому мною вопросу накопилась целая литература. Последняя по времени статья В. В. Водовозова в VI т. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова. Справедливым представляется мне вывод Н. О. Лернера: «Пушкина никак нельзя считать ни в какую пору его жизни типическим выразителем идей 20-х годов,—идей, с которыми всегда было лишь нечто общее в основе его воззрений на социальные отношения, но и представителем николаевского периода он не явился». (Проза Пушкина. История русск. литературы XIX века. Изд. Т-ва «Міръ», вып. 6-й, стр. 410). Очень неуклюже подходит к вопросу проф. А. М. Евлахов, желая вырыть непроходимую пропасть между Пушкиным, гениальным художником, и Пушкиным—человеком с его «социально-политическим убожеством» (в книге «Пушкин, как эстетик», 22—56, и во II т. «Введения в философию художеств. творчества», стр. 352—357).

наличность известной «эволюции» [1]). Всё общественно-политическое мировоззрение автора «Путешествия» построено на идее народного суверенитета. Пушкин с последовательностью, не оставляющей ни малейших сомнений, отвергает «отвратительную власть демократии» и право народа производить насильственные перевороты. История Франции давала ему неоднократно повод энергично нападать на пагубное народовластие.

Пушкин мыслит теперь новыми, историческими категориями. Он убежден, что история имеет свои непреложные законы, что просвещенный человек и просвещенный народ должны уважать свое прошедшее, уважать свою историю.

«Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим», говорил Пушкин в неоконченном «Романе в письмах» (1829—1830) [2]). И герой этого романа грустно восклицает: «Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!». В набросках 1831—1832 гг. «Гости съезжались на дачу...» Пушкин снова влагает в уста «русского» требование быть благодарным к прошедшему. Со скорбью говорит он: «Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю. Но едва ли мы выслушали его... Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».

Со второй половины двадцатых годов Пушкин весь в истории: кропотливо роется в архивах, пишет сухую «Историю пугачевского бунта», собирает материалы для истории Петра Вел., попутно интересуется «камчатскими делами» первой половины XVIII в. и т. д. Наконец, пишет ряд художественных произведений на исторические сюжеты. Крепко срастается Пушкин с бытовой и исторической почвой русской жизни. Теперь можно считать твердо установленным, что историзм окрашивает все общественно-поли-

---

[1]) Проф. Н. Н. Фирсов приписывает к Пушкину эпитет «либерального консерватора». Академ. издание Пушкина, т. XI, примечания, стр. 35.

[2]) Буквально то же самое читаем в заметке 1830 г.: «В одной газете почти официальной».

-тические взгляды поэта и, — более того, — служит опорой его общего миропонимания. Занятия историей, по верному замечанию Н. О. Лернера, «не только пленяли его воображение прелестью широких картин, своеобразием крупных характеров отдельных исторических личностей, но диктовали моральные и социологические выводы» [1]. История для Пушкина была тем же, чем для Гете естествознание. Она воспитала в нем «мягкий, человечный, всеоправдывающий объективизм», как выразился Модест Гофман. Целый Пушкин на всё взирал очами истории [2].

В записке о народном воспитании, как мы уже видели, Пушкин большие надежды возлагает на историю, эту мудрую наставницу людей, а русским особенно рекомендовал исторический труд Карамзина.

Карамзин оказал огромное влияние на Пушкина в деле сформирования его исторических взглядов [3].

---

[1] Н. О. Лернер. Проза Пушкина. История русской литературы XIX века. Изд. т-ва «Міръ», вып. 6-й, стр. 404. Здесь дан сжатый, но яркий обзор исторических занятий Пушкина.

[2] Пушкин под редакцией С. А. Венгерова, т. IV, стр. 357—8: статья о «Капитанской дочке». — О наличности твердой исторической основы в воззрениях Пушкина 30-х годов говорили в сущности уже давно: Анненков, Галахов, Си[illegible]нин, Мизинов. Последний в двух своих статьях: «Пушкин, как исторический беллетрист» и «Пушкин — сын века» (см. его сборник «История и поэзия». М. 1906). — С большой вдумчивостью подошел к вопросу молодой пушкинист. Борис Энгельгардт, в работе, озаглавленной: «Историзм Пушкина. К вопросу о характере пушкинского объективизма». (Пушкинист. Историко-литерат. сборник под редакцией проф. С. А. Венгерова. Вып. II). Поставив в центре своих изысканий трагедию «Борис Годунов», Энгельгардт внимательно проследил тот внутренний процесс, который привел Пушкина к историзму, к признанию идеи исторической необходимости, «реализующей в иррациональном процессе истории высокие этические ценности».

[3] Эту мысль высказал недавно также проф. Н. Н. Фирсов. Пушкин. под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 246—247. Ср. также его примечания к «Истории пугачевского бунта» в XI томе академического издания, особ. стр. 29. Об отношении Пушкина к Карамзину говорится у А. Н. Пыпина в «Истории русской литературы т. IV, гл. XLII. Систематическую сводку «всех упоминаний о Н. М. Карамзине, рассеянных в изобилии в сочинениях Пушкина» дает К. М. Данилов в брошюре «Пушкин и Карамзин» (Казань, 1917).

Всем нам памятна эпиграмма Пушкина на Карамзинскую историю. Но сам поэт не придавал ей особого значения, и, действительно, она нисколько не характеризует истинного отношения поэта к знаменитому историку [1]).

В первый раз Пушкин читал «Историю Государства Российского» в феврале 1818 г., и она, как сообщает сам поэт в автобиографических отрывках 1825 г., произвела на него неизгладимое впечатление. Пушкин неистощим на похвалы Карамзину, и чем далее, тем его уважение к историку становится более сознательным и прочным.

Оставляю в стороне общеизвестный факт, что Карамзиным Пушкин пользовался при создании «Бориса Годунова» и самую пьесу посвятил ему «с благоговением и благодарностью» [2]). Приведу лишь несколько характерных отзывов Пушкина о Карамзине. В упомянутых отрывках 1825 г. Пушкин негодует против поверхностной критики «молодых якобинцев» и дает труду Карамзина оценку, которая затем буквально повторена в записке о народном воспитании. «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина», пишет он (Венг. V, 417): «...Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека». В третий раз буквально те же мысли и в тех же выражениях Пушкин занес в свою заметку 1827 года «Появление Истории Государства Российского» и пр. (Венг. IV, 504). «Карамзин—великий писатель во всем смысле этого слова», возражает Пушкин Вяземскому в замечаниях на его статью об Озерове 1826—1828 гг. (Венг. IV, 488) [3]).

---

[1]) «Это не лучшая черта моей жизни», признавался поэт по поводу эпиграммы в автобиографическом отрывке. Венг. V, 417. Ср. заметку Н. О. Лернера «Эпиграммы на Карамзина»—ibid. т. II, стр. 535, также у К. М. Данилова, стр. 16—18.

[2]) О посвящении трагедии Карамзину в письме к Плетневу от 1830 г. (Переписка, II, 183—4).

[3]) Ср. отзывы о Карамзине еще в письме к Раевскому 1827 г. (Переписка, II, 19), к барону Дельвигу 1827 г. (ib., 35), в «Отрывке из литературных летописей» 1829 г. (Венг. IV, 531), в «Рославлеве» (1831) (Венг. IV, 248), в набросках 1831—2 г. Гости съезжались на дачу» (ib., 256).

Высокомерное отношение к Карамзину со стороны Полевого вызвало в 1830 г. благородную отповедь Пушкина. «Уважение к именам, освященным славою», втолковывает он самоуверенному автору «Истории Русского народа» (Венг. IV, 540), «не есть подлость, как осмелился кто-то напечатать, но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу Эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно». И далее Пушкин набрасывает мастерской портрет Карамзина, «первого нашего Историка и последнего Летописца».

«Чистая, высокая слава Карамзина,—писал Пушкин в статье 1836 г. «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности» (Венг. V, 348),—принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дани уважения глубокого и благодарности» [1]).

В коротенькой заметке 1836 г. (Венг. V, 391) Пушкин высказывает уверенность, что Строев своим двухтомным «Ключом к Истории Государства Российского Н. М. Карамзина» «оказал более пользы Русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. Те из них, которые не суть еще закоренелые верхогляды, принуждены будут в том сознаться. Г. Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории». Его «Ключ»—«необходимое дополнение к бессмертной книге Карамзина».

В V томе «Современника» (1837 г.), вышедшем уже после смерти поэта, напечатан отрывок из рукописи Карамзина «О древней и

[1]) Еще в июле 1831 года, испрашивая через Бенкендорфа «дозволение заняться историческими изысканиями в наших Государственных Архивах и библиотеках», Пушкин писал: «Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до Государя Петра III». (Переписка Пушкина, под ред. В.И. Саитова, т.II, стр. 278 –279). Если в этих словах и нельзя видеть прямого указания на то, что Пушкин мечтал о роли преемника Карамзина в качестве историографа, то все же смысл их весьма знаменателен. Ср. в «Воспоминаниях и критическ. очерках» П.В. Анненкова, отдел III, стр. 248—249.

новой России». Пушкин снабжает его примечанием (стр. 89): «Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат, если не полную речь великого нашего соотечественника, то, по крайней мере, звуки его умолкнувшего голоса». Для нашего поэта Карамзин «великий писатель» и благородный патриот. «Карамзин написал свои мысли **О древней и новой России**,—говорит Пушкин («Российская Академия», 1836 г.,—со всею искренностию прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел, и остался попрежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота». Карамзин поступил так, как подобает истинному писателю-гражданину. Карамзина—вот кого следует поставить в противовес Радищеву. Не безразлично, что статья «Ал. Радищев» сопровождается эпиграфом из Карамзина (слова, сказанные в 1819 г.: «Il ne faut pas qú un honnête homme mérite d'être pendu»). [1])

Теперь мы ясно видим, почему, по убеждению Пушкина, Радищев заслуживает прямого осуждения за свой образ действий и за свой образ мыслей. Образованный писатель, с развитым историческим мышлением, не станет питать «невежественного презрения ко всему прошедшему», проявлять «слабоумное изумление перед своим веком», словом, антиисторизм, и сумеет выбрать культурные способы для проведения своих идей в жизнь: роль фанатика и Дон-Кихота—не к лицу просвещенному писателю и зрелому человеку.

Для Пушкина несомненно, что «со времени восшествия на престол дома Романовых, правительство у нас всегда впереди на по-

[1]) Другим высоким образцом человека был в это время для Пушкина Сильвио Пеллико, проявивший, несмотря на глубокие и продолжительные страдания, «ясное спокойствие, любовь и доброжелательство».См. его статью 1836 г. по поводу книги Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Неудивительно, что и от Радищева Пушкин потребовал «большей искренности, и благоволения»: «ибо нет Убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви», как сказано в заклю-

прище образования и просвещения». (Мысли на дороге, V, 247). Поэтому, благо страны требует сотрудничества с правительством, а не борьбы с ним. Реформы нужны, но они совершатся не революционным путем. Перемены в положении крестьян должны произойти, но постепенно. «Лучшие и прочнейшие изменения,—говорит Пушкин в назидание Радищеву, повторяя весьма старую мысль Карамзина (еще в «Письмах русского путешественника»),—суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (261). «Власть и свободу сочетать должно на всеобщую пользу», думает Радищев. «Истина неоспоримая», соглашается Пушкин (261). Но как? Ведь абсолютной свободы нет нигде, «ибо везде есть или законы, или естественные препятствия», говорит пушкинский англичанин (262). Человек должен быть свободен,—читаем в другом месте (258),—но **«в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом»** (курсив Пушкина).

Еще в 1830 г. по поводу «Истории Русского народа» Полевого Пушкин убежденно доказывал своеобразие русского исторического процесса. Он утверждал, «что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» [1]). Вспомним, что в записке о народном воспитании (1826) Пушкин также говорил, что само правительство основано на «силе вещей», и что в истории важен «дух народов»; поэтому он и предостерегал от влияния «чужеземного идеологизма», столь пагубно отразившегося на декабристах. В «Мыслях на дороге» поясняется, что «лучший цвет предшествовавшего поколения» был погублен ужасным влиянием «холодного скептицизма французской философии», внушившей ему «упоительные и вредные мечтания». Пушкин не ошибался: некоторые декабристы, действительно, продолжали оставаться типичными «вольтерьянцами».

---

[1]) Важно сопоставить это с мыслями Пушкина 1836 г. по поводу философского письма Чаадаева (Переписка под ред. В. И. Саитова, III, 387—9). Ср. статью М. О. Гершензона в «Пушкине» под ред. С. А. Венгерова, т. VI.

В неизмеримо большей степени, чем декабристы, «чужеземным идеологизмом» и как раз тем же вольтерьянством был заражен Радищев. Его книга вплотную подводила читателя к идейным первоистокам раци оналистического и революционного XVIII века. Мы уже знаем, в каких сильных выражениях Пушкин высказал свою мысль о глубокой зависимости Радищева от философов XVIII ст. Поэт не скрыл своего резко отрицательного отношения к последним. Тут опять мы имеем дело с вполне принципиальным и последовательным его взглядом.

IX.

Старшие современники Пушкина почти всецело жили XVIII веком, а дети по Вольтеру чуть ли не учились французской грамоте. Велики были собственные обязательства поэта перед недавним прошлым. В молодости он испытал на себе самом значительное влияние философских и исторических идей XVIII века [1]). В период 20—30 годов он настойчиво изучает и изображает минувшее столетие. Если ограничиться только художественными произведениями, то мы найдем тут целых три повести: «Арапа Петра Великого» (1827), «Дубровского» (1832—1833), «Капитанскую дочку» (1833—1836). Пушкина влечет план написать историю русского XVIII века (Петра В. и его преемников).

На французский XVIII век Пушкин посмотрел глазами человека, уже пережившего эпопею Отечественной войны и созревшего в атмосфере народности и историзма, отчасти даже в атмосфере философского идеализма.

В тридцатых годах в нашей литературе как раз шли горячие дебаты о современной французской литературе. «Неистовая» сло-

---

[1]) Борис Энгельгардт, напр., немало отводит места вопросу о влиянии исторической идеологии XVIII в. на молодого Пушкина. Пушкинист. Вып. II, стр. 19—32).

весность юной Франции была мишенью очень резких нападок. Член Российской Академии, М. Е. Лобанов, в 1836 г. забил настоящую тревогу и требовал энергичных мер для борьбы с «безнравием и нелепостью» французской литературы. Пушкин представил ему несколько резонных возражений, но не отказался от своего, в общем отрицательного взгляда на французскую литературу тридцатых годов [1]). Пушкин сам был в числе строгих судей Франции. Впечатления от современности, естественно, должны были усиливать его неприязнь к прошлому веку, когда национальная психология французов резко проявлялась в целом потоке разрушительных идей.

Пушкин был вообще невысокого мнения о характере французов. Народ властвует во Франции «отвратительною властью демократии. В нем все признаки невежества, презрение к чужому, une marque pétulante et tranchante, et ». Тогда как девиз России—suum cuique». [2]).

Оставаясь неизменным почитателем французских поэтов XVII—XVIII в. [3]), Пушкин тридцатых годов—убежденный противник философских и политических идей французского XVIII в. Приведу некоторые доказательства, в параллель тому, что читаем мы в статьях о Радищеве.

---

[1]) Этому вопросу посвящена моя статья «Взгляд Пушкина на современную ему французскую литературу» (Пушкин под ред. С. А. Венгерова, т. V).

[2]) Отзыв об «Истории поэзии» Шевырева, 1835 г.

[3]) См., напр., в VIII строфе «Домика в Коломне» (1830), в письме к Погодину от 1832 г. (Переп. II, 389), статью 1834 «О Русской Литературе, с очерком французской»; далее, признание «в гососо нашего запоздалого вкуса» и всю характеристику Вольтера, как писателя и человека («Вольтер», 1836 г.). Ср.: А. Н. Веселовского «Западное влияние в новой русской литературе» и статью «Пушкин и европ. поэзия» (в «Этюдах и характеристиках»), статью А. Н. Кадлубовского «К вопросу о влиянии Вольтера на Пушкина» в издании «Пушкин и его современники», вып. V; статьи Н. П. Дашкевича «Пушкин поэт общеевропейский» и «А. С. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени» (в Сборнике II отд. Ак. Н., т. 92-й); мою статью в V т. Пушкина, под ред. Венгерова (начало); статью Вяч. Иванова—ibid., II т., стр. 23; статью Ф. Д. Батюшкова «П. и Расин» в сборнике «Памяти Пушкина» (Спб. 1900).

В стихотворении «К вельможе» (1829) Пушкин саркастически отзывается о прославленных философах Франции, хотя, вообще говоря, В. Л. Пушкин не ошибался, сказав племяннику-поэту:

Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер.
Ты остроумие и вкус его имеешь
И нравиться во всем читателю умеешь [1]).

Вот эти меткие и колкие характеристики. Вольтер—«Циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый». О Дидро говорится:

То чтитель Промысла, то Скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедывал.

После революции

Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других.

В VIII строфе «Домика в Коломне» (1830), где по поводу александрийского стиха, испорченного новыми поэтами, сочувственно вспоминаются франц. писатели—Буало, Расин, Вольтер, Делиль,—Вольтер все же именуется «философом и ругателем».

Для Пушкина несомненно, что «эпиграммы демократических писателей XVIII столетия... приуготовили крик: **Аристократов к фонарю** и ничуть не забавные куплеты с припевом: **Повесим их, повесим**» (1830) [2]). Таким образом, в «огромную драму» французской революции вторглась «гадкая фарса», как выразился

---

[1]) Сочинения В. Л. Пушкина, изданные под редакцией В. И. Саитова. Спб 1893. Стр. 115.

[2]) Венг. V, 1. Эта мысль в применении к русским писателям составила тему особого диалога 1830 г. (Венг. IV, 551—553). Мнение Пушкина выражает Б.

Пушкин в «Разговоре» 1830 г. [1]). По случаю опубликования в 1830 г. «Записок парижского палача» Пушкин коснулся «соблазнительных исповедей философии XVIII века», после которых «явились политические, не менее соблазнительные откровения» [2]).

В заметках «О русской литературе, с очерком французской» (1834 г.) Пушкин набрасывает цельную характеристику философской мысли Франции. Он писал: «Ничего не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, и любимым орудием ее была ирония, холодная и осторожная, и насмешка, бешеная и площадная». Вольтер был главою этой философии. Самую поэзию он сделал орудием своей философии. Его влияние было «неимоверно». «Около великого копошились пигмеи, стараясь привлечь его внимание. Умы возвышенные следуют за ним. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его Апостолов». Вся Европа преклонилась перед Вольтером. «Общество созрело для великого разрушения... Смерть Вольтера не останавливает потока. Бомарше влечет на сцену и терзает всё, что еще почитается неприкосновенным... Древность осмеяна, обругана; поэзия свящ. книг обругана; поэзия истощается, превращается в мелочные игрушки остроумия». Следовательно, ни уважения к истории, ни веры, ни любви—не видно в бурном движении французской мысли, которое должно было завершиться революционным финалом. Подобные мысли составляли органическую часть исторического миросозерцания Пушкина.

В самой статье «Александр Радищев» Пушкин цитирует стихотворение этого писателя «Осьмнадцатый век», именно те начальные стихи, которые показались поэту «столь замечательными» под пером автора «Путешествия». Нетрудно понять, чем они привлекли к себе особливое внимание Пушкина. Радищев возвысился здесь

---

1) Венг. IV, 562.
2) Венг. IV, 543.

до исторического и философского взгляда на XVIII в., оценивая его мерилом «вечности». Бесследно вольются кровавые струи и этого столетия в море вечности. Оно не оправдало всех надежд. Близ самой пристани корабль поглощен водоворотом; «счастие и добродетель и вольность пожрал омут ярой». Столетие разом—и безумно и мудро; будут во-век его проклинать и во-век удивляться. «Но зри: две взнеслися скалы во среде струй кровавых—Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс». Со всем этим Пушкин мог согласиться, и, конечно, жалел, что Радищев не раньше додумался до своих прекрасных мыслей»[1]). Ведь теперь он сумел критически отнестись к тому, перед чем слишком слепо преклонялся раньше. Не забывая заслуг «мощного» столетия, которое даровало смертным «истину, вольность и свет», которое было творцом великих научных идей, Радищев, при утреннем свете «столетия нова», ясно видит, что XVIII веку недостало сил «к изгнанию всех духов ада», что кровь не перестает литься, и человек еще похож на лютого тигра. «Иль невозвратен навек мир давший блаженство народам, или погрязнет еще, ах, человечество глубже?» задается Радищев вопросом. И в ответ слышит «глас утешенья». Свет дня прогонит «нощи угрюмую тьму». На этот раз надежды свои Радищев возлагает на «орла российского».

Выше и выше лети ко солнцу, орел ты российский,
　Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь.
Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона[2]).

Разрыв Пушкина с скептическим XVIII веком характерно выразился еще в одном частном эпизоде, который связан с тем же вопросом о Радищеве. Это отношение Пушкина к исторической святыне французов, к Жанне д'Арк.

---

[1]) Стихотворение «Осьмнадцатое столетие»—неизвестного года, но во всяком случае написано уже в «новом» веке, в царствование Александра I («Гений—хранитель всегда Александр будь у нас»,—гласит последний стих).

[2]) Полное собрание сочинений А. Н. Радищева. Т. I. Редакция В. В. Каллаша. М. 1907. Стр. 462—464.

«La Pucelle» Вольтера была в памяти у Радищева, когда он начинал своего «Бову». Во вступлении он говорил [1]:

О Вольтер, о муж преславный!
Еслиб можно Бове было
Быть похожу и кое-как
На Жанету, девку храбру,
Что воспел ты; хоть мизинца
Ее стоить,—еслиб можно,
Чтоб сказали, Бова только
Тоща тень ее—довольно—
То бы тень была Вольтера,
И мой образ изваянный
Возгнездился б в Пантеоне.
Но боюся, твоя участь
Будет равная с Жанлисой
По передням волочиться.

Молодой Пушкин любил игривые мотивы и кощунственны пародии. Как было ему устоять перед тем же соблазном? Добродетельная поэма Шаплэна «La Pucelle» казалась пресной, и Пушкин не последует за ним. То ли дело остроумный Вольтер Поэт говорит в начале «Бовы»:

Но вчера, в архивах роясь,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом—Жанну Орлеанскую.
Прочитал и в восхищении
Про Бову пою царевича.
О Вольтер, о муж единственный,
Ты, которого во Франции
Почитали богом некиим,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии,
Ты, который на Радищева

[1]) Полное собрание сочинений А. Н. Радищева, под ред. В. В. Каллаша Т. I 391.

Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею Музою!
Петь я тоже вознамерился.
Но сравняюсь ли с Радищевым?

Следы вольтеровской «La Pucelle» видны также в поэме «Руслан и Людмила». Пушкин принимался даже переводить поэму Вольтера [1]).

Но вот наступают тридцатые годы. Пушкин снова заговорил о Вольтере и Жанне д'Арк, но уже совершенно другим языком. Для Вольтера поэзия стала орудием его философии. Он не владел «верхом поэзии», но однажды, в старости, заявил себя «истинным поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии». (Заметки 1834 г. о русской литературе с очерком французской) [2]). Выше обольщений поэзии Пушкин поставил нечто иное, священное для человечества. В 1837 г. поэт написал статью «Последний из родственников Иоанны д'Арк», где Жанна именуется «Орлеанской героиней», «славной Орлеанской девственницей». Изложив по английскому журналу «Morning Chronicle» несколько комический эпизод между Дюлисом, потомком родного брата Иоанны д'Арк, с одной стороны, и Вольтером с другой, — Пушкин сочувственно цитирует негодующие слова английского журналиста, направленные против Вольтера и между прочим следующие [3]): «Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического—жизни и смерти Орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что он употребляет вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего

---

1) «Я не рожден святыню славословить» (1829). Французские стихи в I главе «Арапа Петра В.» взяты также из «Pucelle».

2) Венг. V, 295. Ср. ibidem, стр 294.

3) Венг. V, 407.

потешного огня. Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы... Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени цинизма... Жалкий век! жалкий народ!» Сам Пушкин не мог бы лучше выразить негодование против Вольтера, против XVIII века. Вернее же сказать, предыдущая тирада целиком должна быть приписана Пушкину [1]).

Постигнув «объективную целесообразность процесса всеобщей жизни» и значение «этических ценностей», поэт еще в «Борисе Годунове», —как хорошо сказал Б. Энгельгардт,—привел идеологию французского просвещения на суд русской летописи и безвозвратно осудил ее [2]).

Революционному и «антиисторическому» XVIII веку Пушкин противопоставляет историзм XIX ст., французской философии — философию немецкую.

В «Мыслях на дороге» определенно отмечено благотворное влияние немецкой философии на русскую молодежь в качестве противоядия против скептицизма и вольнодумства французской философии [3]). Разумеется, мы не причислим Пушкина всецело к любомудрам. Ведь именно он радуется, что «философия немецкая, которая нашла в Москве, может-быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому» («Мысли на дороге»). Тем не менее, нельзя согласиться

---

1) Любопытно, что в рукописи Пушкина (Рум. Муз. № 2386, л. 58—59) цитированные замечания делает не английский журналист, а английские журналисты (множ. число тут же переправлено поэтом на единственное).—Еще в «Отрывках из романа в письмах» (1829—1830) Пушкин заставляет Владимира Z* писать: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!» (Венг. IV, 138—139. Порядок фраз мною изменен).

2) Пушкинист. Вып. II. Стр. 87.

3) Совершенно непонятно, каким образом В. Е. Якушкин в приведенной «оценке молодого московского кружка» мог усмотреть доказательство того, что и в тридцатых годах Пушкин сохранил верность идеалам двадцатых годов. Ведь у любомудров не было ничего общего с декабризмом. См. стр. 50 оттиска статьи «Радищев и Пушкин» или стр. 59—60 сборника.

с мнением Н. О. Лернера, будто Пушкин ценил немецкую философию «лишь постольку, поскольку она сыграла своеобразную политическую роль», т.-е. отвлекла молодежь от политики [1]). Мне кажется, Пушкин понимал и умел ценить сущность русского любомудрия. Статья И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности за 1829 год» удостоилась с его стороны большой и сочувственной рецензии: поэт с уважением говорил здесь о «молодой школе московских литераторов,—школе, которая оставалась под влиянием новейшей немецкой философии» [2]). Для Пушкина было очевидно, что немецкая философия внесла в русское умственное движение ряд новых идей: вместо сухого рационализма—светлое приятие мира, вместо эмпиризма—идеализм, вместо нормативно рассудочной эстетики—свободно-идеалистическую эстетику. «Теория наук,—писал Пушкин в 1836 г. в своем возражении на «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности»,—освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству». Пусть порою русские любомудры бывают смешны своими мудреными речами, «мало понятными для непосвященных», но все же их влияние «было благотворно и час от часу становится более ощутительно».

В двух отношениях философствовавшая молодежь 20—30 годов как нельзя более была сродни Пушкину: это когда она говорила об искусстве и когда отстаивала важность историзма. Последнее для нашей цели особенно существенно.

Идеи народности и историзма пышно расцвели на почве европейской романтики [3]). И у нас историзм был составною частью романтического национализма, породив в литературе особый интерес к историческому жанру (историческому роману и исторической драме). Философский романтизм, принципиальный и непримири-

---

[1]) Статья «Пушкин после ссылки в Москве», в III т. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, стр. 342.

[2]) В № 10 «Литературной газеты» 1830 г. Открытие этой важной рецензии было сделано А. А. Фоминым. Брошюра «Памяти А. С. Пушкина». Спб. 1914 (Из «Русского Библиофила»). Стр. 21—28.

[3]) Книга проф. В. М. Жирмунского «Религиозное отречение в истории романтизма» (М. 1919) обогащает нас на этот счет новыми и интересными сведениями.

мый противник XVIII века, в свою очередь, внес большое оживление в нашу историческую науку, углубив ее перспективы и утончив ее метоты[1]. Любомудр И. В. Киреевский еще в «Обозрении русской словесности за 1829 год» писал: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает всё». Поэтому Киреевский с особым чувством обращает внимание читателей на XII том Истории Русского Государства, «последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского»[2]. Шевырев удачно вводит в изучение поэзии метод исторический (вместо умозрительного), и Пушкин приветствует его попытку (в 1835 г.). Погодин усиленно работает над своими историкофилософскими Афоризмами (изданы в 1836 г.), и «Современник» Пушкина удостаивает их весьма лестной рецензии[3]. Н. В. Стан-

[1] См. книгу П. Н. Милюкова «Главные течения исторической мысли». М. 1898.

[2] Полное собрание сочинений И. В. Киреевского. Под. ред. М. О. Гершензона. Т. II, стр. 19.

[3] В письме к Погодину от 14 апр. 1836 г. (Переписка, под ред. В. И. Саитова т. III, стр. 300) Пушкин, правда, говорит, что он «не имел ни времени ни духа порядочно рассмотреть» напечатанную в «Современнике» статью об Афоризмах, но, конечно, от Пушкина не ускользнул ее сочувственный и даже хвалебный тон. Большие цитаты даны Н. Барсуковым в сочинении «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. IV, стр. 370—1. В библиотеке поэта оказался экземпляр «Исторических Афоризмов» Погодина, но не разрезанный (П. и его современники, вып. IX—X, стр. 79).—Пушкин лично познакомился с Погодиным в 1826 г., и с тех пор до самой смерти поэта их отношения оставались дружественными, несмотря на трения, неизбежные для всякого, кто имел тесное общение с Погодиным. Московского историка Пушкин решительно выделял среди других профессоров университета, (см. его письма от 26 марта 1831 г. и от июня 1831 г. во II т. Переписки под ред. В. И. Саитова, стр. 232, 264), в письмах и печати восторгается его «вечевой трагедией «Марфа Посадница», живо интересуется вообще его литературной деятельностью и охотно вступает в сотрудничество с ним. Пушкин сходится с Погодиным в уважении к Карамзину и неприязни к Полевому. Этот факт близости Пушкина к домосквитянинскому Погодину весьма показателен. На него еще не обращено достаточного внимания. Ср., однако, в статье проф. Н. Н. Фирсова (Пушкин, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 247 и сл.). См. также ценную работу М. А. Цявловского «Пушкин по документам Погодинского архива» («Пушкин и его современники», вып. XIX—XX и XXIII—XXIV).

кевич усердно пропагандирует историю, как одну из основных дисциплин, рядом с философией [1]). В гегельянстве наши идеалисты нашли новую опору своему историзму. В этом отношении весьма поучительны бородинские статьи Белинского (уже 1839 г.). Подобно Пушкину, критик также идет в разрез с теми теориями о происхождении политических обществ, которых так было много «у французов, в их «философском» XVIII веке». Решительно отвергая учение «материалистов XVIII века», он поет гимн «абсолютному значению истории». «Занятие ею,—патетически говорит Белинский,—есть такое блаженство, какого не может заменить человеку ни одна из абсолютных сфер, в которых открывается его духу сущность сущего и родственно сливается с ним до блаженного уничтожения его индивидуальной единичности». История научает постигать иррациональную природу жизни народов, поднимает до «созерцания мировых явлений жизни», до созерцания судеб человечества «в лице народов и их благородных представителей». «Коренные государственные постановления священны, потому что они суть основные идеи не какого-нибудь известного народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши в явления, ставши фактом, диалектически развивались в историческом движении, так что самые их изменения суть моменты их же собственной идеи». Вопреки мнению «непризнанных опекунов человеческого рода, заграничных крикунов», Белинский полагает, что «ход нашей истории обратный в отношении к европейской: у нас правительство всегда шло впереди народа, всегда было звездою путеводною к его высокому назначению» [2]). Сходство с взглядами Пушкина—очевидное

Я привожу все эти параллели с тем, чтобы показать неоспоримую близость исторических идей Пушкина к той исторической философии, какую усвоили себе русские мыслители 20—30 годов, в противовес теориям XVIII века. В этом отношении эпоха Пушкина настолько отличалась от эпохи Радищева, что за XVIII веком

---

1) См. в моей статье «Идеализм Н. В. Станкевича» («В. Евр.», 1915, февр.).

2) В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова. Т. IV.

прочно укрепилась репутация «антиисторического». По поводу этого термина необходимо, пожалуй, сделать некоторую оговорку.

Эпитет «антиисторической» по отношению к эпохе просвещения употребляют такие авторитетные представители философской науки, как Виндельбанд, Вундт, К. Фишер, полагая, что материализм, рационализм и индивидуализм XVIII века привели к одностороннему рационализированию всего исторического процесса. Эта точка зрения, однако, не без успеха оспаривается другими учеными (Гюнтером, Фютером, Гасбахом, Менцером, Флинтом и т. д.). В защиту XVIII века сказал свое слово также московский профессор Г. Г. Шпетт. Характеристика этого столетия, как «неисторического» или «антиисторического», — пишет он [1],—если ей придавать совершенно **общее значение, далеко не соответствует фактам**. Она сама страдает **неисторичностью**, так как она не столько констатирует факты, сколько представляет собою **выводы** из некоторых положений, схематизирующих состояние науки и философии в ту пору. В особенности такая характеристика должна показаться несправедливой, если иметь в виду всё интеллектуальное развитие эпохи в ее местных и индивидуальных особенностях применительно к странам, игравшим руководящую роль в культуре эпохи. Единственно правильным методическим решением этого вопроса был бы не метод «выводов», а метод исторический же, или, по крайней мере, чистое, непредвзятое, констатирование фактов. Окажется прежде всего, что в XVIII веке очень энергично разрабатывались чисто исторические вопросы при помощи исторических методов, что хотя и остается преобладающей прагматическая окраска в способе объяснения, но зато закладывается фундамент основательной филологической и материальной критики, наконец, что самый предмет истории приводится к тому его пониманию, которое господствует и в XIX, «историческом» веке». В частности по отношению к Франции Г. Г. Шпетт разделяет мнение английского ученого Флинта, что французские фи-

---

[1]) Г. Шпетт. История, как проблема логики. Ч. I. М. 1916. Стр. 61-65.

лософы эпохи просвещения принимали живое участие в разработке истории. Флинт не отрицает, что «немногие из них вносили в свое исследование строго исторический и вполне научный дух», но утверждает, что историческая наука и тут сделала значительный прогресс: «Прежде только очень немногие исключительные и изолированные мыслители пытались открыть закон и смысл в истории; теперь это стало излюбленным предметом теоретизирования. Почти все руководящие умы эпохи были направлены на это,—с результатом, который менее чем в полстолетия дал гораздо больше философско-исторических сочинений, чем за всё предыдущее время» (110) [1].

Такой взгляд является, конечно, существенным коррективом к ходячему мнению о «неисторичности» XVIII века. Но это нисколько не мешает нам, становясь на точку зрения современников Пушкина, употреблять термин «антиисторический» в том условном смысле, какой придавали ему идейные противники эпохи просвещения, историки и философы, идеалисты и мистики. Людям XIX ст. XVIII век **казался** неисторическим, и эта условность была общепринятой.

Историческое мышление Пушкина шло по той новой колее, какая была проложена философией и наукой первой трети XIX в. Поэт разделял общее тогда отрицание философских и исторических идей XVIII века. При свете этого сближения нам не покажутся случайными нападки Пушкина на Радищева, этого, по его мнению, представителя полупросвещения XVIII века. В глазах поэта Радищев был жертвой «заблуждений века», и расхождение между ними было принципиальным и глубоким [2].

---

[1]) Анри Мишель, автор книги «Идея государства», также отвергает упрек в априоризме, обращенный к мыслителям XVIII в. (русский перевод П. А. Рождественского, под ред. А. А. Рождественского. М. 1909. Стр. 90 и сл.).

[2]) Уже совершенно закончив свою работу, я убедился, что у меня есть очень близкий предшественник. Это—П. Мизинов, автор статьи «Пушкин—сын века» (в его сборнике «История и поэзия», М. 1900). Статья относится еще к 1899 г. Мне приятно было встретить у Мизинова мысль, совершенно сходную с моим основным взглядом на вопрос об отношении Пушкина к Радищеву. Показав, как «под

X.

Вопрос об отношении Пушкина к Радищеву, надеюсь, освещен мною с достаточной полнотой, и я готов перейти к заключительным выводам. Но на пути меня встречает еще одно препятствие— известные слова «Памятника», над которым поэт работал также в 1836 году, именно стих первой редакции:

Что **вслед Радищеву** восславил я свободу...

На эти слова указывают все и, конечно, Якушкин в числе первых. Мне кажется, их ни в коем случае нельзя истолковывать как серьезное опровержение того, что нашли мы в статьях о Радищеве. В 1836 г. имя Радищева было на устах у Пушкина. Поэт, когда-то написавший «Деревню», конечно, не забыл того, чем он обязан Радищеву в прошлом; не стал малодушно отрицать, что автор «Путешествия» был его учителем в прославлении свободы. Да и в «Мыслях на дороге» Пушкин открыто просит не смешивать его с крепостниками («Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства»). Он был и остается сторонником свободы. Так что, если бы Пушкин оставил даже первую редакцию, он не впал бы в грубое противоречие с самим собою. Но факт все же тот, что, переделывая строфу, усиливая в ней мысль о своих **добрых** чувствах, поэт предпочел обойтись без имени Радищева.

влиянием эпохи» Пушкин «из человека XVIII в. сделался человеком XIX века». Мизинов останавливается на литературной встрече поэта с другом его молодости, Радищевым, который «известно, был типическим представителем людей прошлого века». «Друзья, оказалось, уже далеко разошлись друг от друга, и только полуотрицательный приговор вылился из-под пера Пушкина своему старому богу» (524). «Эти мысли Пушкина о Радищеве, написанные им на закате жизни, есть лучшее мерило перемены миросозерцания, это—лучший показатель этой перемены» (525). Небезынтересно отметить, что, повидимому, так же представлялось дело еще Аполлону Григорьеву. Попутно, среди рассуждений на тему о народности и литературе, он заметил, что Радищев принадлежал к числу «искателей идеала», но что его идеал «положительно разрознен со всякой действительностью, чем и объясняется малое сочувствие к нему Державина в его эпоху, и Пушкина в другую». Сочинения Ап. Григорьева. Т. I. Спб. 1876. Стр.493 (статья 1861 г. «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина»).

Может-быть, как предполагают некоторые, это сделано потому, что статья «Александр Радищев» уже была запрещена гр. Уваровым. Хотя для такого утверждения нужно точно установить хронологию пушкинских переделок. Известие о цензурном запрещении приурочивают к 26 авг. 1836 г. [1]), а «Памятник»—к 21 авг. того же года [2]). Стих, «что в мой жестокий век восславил я свободу», датируют 26 августа 1836 г. [3]). Следовательно, хронология не противоречит сделанному предположению. Но для меня гораздо более существенным является то, что, подчеркивая гуманность своей поэзии, придавая всей строфе задушевную теплоту, Пушкин имел внутреннее основание удалить имя Радищева. Да, Радищев восславлял свободу, но ведь он—политический фанатик, ослепленный идеями своего века; он не умел широко-исторически мыслить и в его «поношениях» нет «благоволения», «любви» и, следовательно, «истины». Такими словами заканчивается статья «Александр Радищев», а она была написана еще в начале апреля 1836 г. Умом Пушкин сознавал свою связь с Радищевым, но сердце его уже молчало: душевного контакта между ним и Радищевым уже не было. Пушкин по-своему хорошо сделал, что в окончательной реакции «Памятника» не упомянул о Радищеве [4]).

---

[1]) У Якушкина (стр. 18 оттиска или стр. 21 сборника) приведена ответная пометка цензора Крылова с датой 26 янв. 1836 г.

[2]) Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. 2 издание. Стр. 368.

[3]) Статья Н. П. Сильванского «Жизнь Радищева» при издании «Путешествия» (1905). Стр. LXVI, прим.

[4]) Для меня поэтому совершенно неприемлемо мнение Вл. Л. Бурцева, который, не желая «цепляться за букву пушкинского текста, а следуя за мыслью поэта», окончательной редакцией рассматриваемой строфы считает «только такой текст:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Этот именно текст и должен быть выгравирован на памятнике Пушкину» (Об изучении рукописей Радищева». «Р. Вед.» 1916, № 265, 16 ноября).

Единственно для полноты аргументации, упомяну, пожалуй, еще об одном факте, которому В. Е. Якушкин придавал некоторое значение. «В 1833 году Вяземский вместе с Пушкиным,—говорит он [1]),—написал послание к Жуковскому и предлагал в нем, между прочим, помянуть **«известного автора Радищева»**. Действительная цена этого факта совершенно ничтожна. О нем рассказал нам кн. Павел П. Вяземский [2]). В веселую минуту друзья Жуковского сочинили ему шуточное послание (датированное 26 марта 1833 г.). В творчестве принимали участие кн. П. А. Вяземский, Пушкин, Мятлев, при чем последний был, по словам послания, «notre chef d'école». В подборе имен участвовали и другие, в том числе кн. Павел Вяземский. «Забава продолжалась недели две,—замечает он.—Что же это за «поминание»?

Надо помянуть, непременно помянуть надо
Трех Матрен,
Да Луку с Петром,—

так начинается оно. А в дальнейшем читаем:

Раба Божия Петрищева,
Известного автора Радищева,
Русского лексикографа Татищева.
Сенатора с шишкою на лбу Ртищева,
Какого-то барина Станищева,
Пушкина—не Мусина, не Онегинского, а Бобрищева,
Ярославского актера Канищева,
Нашего славного поэта шурина Павлищева,
Сенатора Павла Ивановича Кутузова-Голенищева,
И ради Христа всякова доброва нищева.
И т. д. и т. д.

«Довольно ли с тебя,—запрашивали Жуковского,—а у нас уже набрано около тысячи. Это вольное подражание твоему Певцу в русском стане. Надеюсь, что этот образец воспламенит твое

---

[1]) Стр. 24, прим. 40 оттиска или стр. 28, прим. 43 сборника. Курсив автора.

[2]) *Кн. Павел Вяземский.* А. С. Пушкин. По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. Газета «Берег», 1880 г., №№ 74, 111, 113, 114 и 115. Интересующее нас место в № 114. Статья вышла также отдельно.

вдохновение и ты не оставишь по части швейцарской составить значительное пополнение» [1]).

Полагаю, что эта шутка ничего не дает для решения спора, не нуждается ни в каких особых пояснениях и не мешает мне перейти к резюмированию всего сказанного.

XI.

Гипотеза об эзоповском языке Пушкина должна быть окончательно отброшена. Статьи о Радищеве органическими нитями сплетены с переживаниями, мировоззрением и творчеством Пушкина в период тридцатых годов. Неслучайно через сорок лет извлек он из архива истории литературное дело Радищева. Для него это дело имело всю свежесть современности. Давние идейные узы с Радищевым, аналогия Радищева с декабристами и революционными деятелями тридцатых годов, новые деяния Франции с ее «неистовой» словесностью,—всё это в глазах Пушкина придавало радищевскому вопросу жгучее значение. Радищев—не одно только прошлое. Это имя обязывало. Тень Радищева тревожила мысль и совесть Пушкина. Из-за могилы автор «Путешествия» ставил перед ним проблемы чрезвычайной важности. Пушкин принял вызов и ответил на него. Статьи о Радищеве были одним из моментов общественно-политического самоопределения Пушкина и вместе его самооправдания. Неудивительно, что его оценка Радищева не оказалась на высоте исторической объективности: спокойствие нередко изменяло Пушкину, он начинал говорить резким голосом обвинителя, и в результате вынес Радищеву почти полное осуждение. В своем обвинении Пушкин исходил, однако, из строго

---

[1]) Цитирую по газете «Берег». Документ этот попал также в то издание семи автографов Пушкина из собрания кн. П. П. Вяземского, которое было выпущено 26 мая 1880 г., т.-е. к открытию памятника Пушкину в Москве.—Некоторая (небольшая) часть стихов писана рукою Пушкина (Венг. III, стр. 372), остальные—кн. П. А. Вяземским. Стихи с именем Радищева—автограф Вяземского.—Ср. о хронологии стихотворения «Сват Иван» в связи с зачином послания—Пушкин, под ред. С. А. Венгерова, VI, стр. 436—437.

принципиальных данных. Автор «Путешествия», — говорил он, — писатель устарелой, сентиментально-реторической школы, а, главное, типичный представитель революционной и «антиисторической» эпохи просвещения или, если угодно, полупросвещения.

Светлый, гармоничный и мудрый Пушкин, изрекший своим творчеством великое поэтическое «да», отверг в лице Радищева мятежное «нет». Для поэта это было преодолением в самом себе XVIII века. Центробежность побеждена центростремительностью.

Пушкин и Радищев это две литературных школы, две психологии, два миросозерцания и—в условном смысле—два века, наконец.

1310/5

Областные курсы коммунистов журналистов
БИБЛИОТЕКА

принципиальная [illegible] [illegible] — [illegible] —
[illegible] устарелой [illegible] поэтики, [illegible]
ние типовых представлений и [illegible]
[illegible] происхождение [illegible] воспроизведение.

Светлый, гармоничный и [illegible] Пушкин, [illegible] своим творчеством [illegible] [illegible] Радищева [illegible] Для того [illegible] было [illegible] в самом [illegible] XVIII века [illegible] [illegible]

[illegible] и Радищев, это две литературных школы, две [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2p.